

Виталий ПОЛОЗОВ

УКРОЎ,
ТАЎТА

Виталий Полозов

Укрой, тайга



Київ
«Світло на Сході»
2014



Виталий Полозов

Укрой, тайга



УДК 821.161.1(430)-31/-32
ББК 84(4Нім=Рос)6.44
П52

Директор Павел Давидюк
Редактор Маргарита Кливер
Корректор Елена Пеннер
Рисунки Анны Рейн
Компьютерная верстка *Андрея Цорна*

Полозов В.

П52 Укрой, тайга. — К.: Світло на Сході, 2014. 320 с.

ISBN 978-966-2089-76-9 (Укр.)

ISBN 978-3-944772-03-5 (Герм.)

Изд. № 01.550

ISBN 978-966-2089-76-9 (Укр.)

ISBN 978-3-944772-03-5 (Герм.)

© Полозов Виталий, 2011

© «Світло на Сході», 2014

Оглавление

Часть 1

Вступление	8
Глава 1. Фридрих	9
Глава 2. Яков	17
Глава 3. Лагерь	23
Глава 4. Сломский	29
Глава 5. Адам	36
Глава 6. Кожин	51
Глава 7. Опер	65
Глава 8. Сомнения	74
Глава 9. Перемены	79
Глава 10. Свара	84
Глава 11. Левка	95
Глава 12. Бригадир	104
Глава 13. Прокопчук	110
Глава 14. Этап	124
Глава 15. Доктор	129
Глава 16. Встреча	137

Часть 2

Глава 1. Домой	152
Глава 2. Побег	169
Глава 3. Альвин	177
Глава 4. Матвей	183
Глава 5. Две Клары	200
Глава 6. Возвращение	216
Эпилог	220
Зерно при дороге	243
Беда	267
Возвращение	280
В шаге от истины	308

Часть 1



Вступление

Раскрытые ворота зоны остались позади. Молоденький солдатик будто чувствовал душевное состояние человека, еще минуту назад бывшего эком под порядковым номером, и закрывать их не спешил. Яков отошел на несколько шагов и обернулся. Через створ ворот он увидел одиноко стоявшего на зоне Адама. Они отсалютовали друг другу в прощальном приветствии.

— Прощай, Яков! — донеслось до него. И Яков увидел, как Адам склонил голову в молитве.

— Прощай и ты, — хотел крикнуть он, но горький ком подкатил к его горлу и голос предательски дрогнул, а на глаза против воли навернулись слезы. Он стащил шапку на грудь и, склонив голову, сдавленно прошептал: Прощай, Адам, друг ты мой дорогой. — Затем, неуклюже потоптавшись на месте, развернулся и медленно побрел в сторону административного здания. Так и увидели они друг друга в последний раз. Длилось это всего несколько секунд, так как солдатик, увидев неформальную ситуацию, поспешно закрыл ворота.

Глава 1


Фридрих

Последний раз в жизни плакал Яков Габт на одиннадцатом году, когда неожиданно умерла мама, пережив отца всего на два года. И пришлось ему с той самой поры, примерив на себя нищенскую суму, присоединиться к старшему брату Фридриху, который уже бродил по Саратовской губернии, выпрашивая милостыню. Так вот, с грехом пополам и перебивались целых два года, пока не свалил Фридриха тиф. Прямо на улице свалил, в городе, на чужой стороне, где им случилось быть в поисках пропитания. Подобрала его машина и — в госпиталь. Яшку же в машину не взяли. Бежал он за ней, бежал, да так и отстал. Долго метался в отчаянии пацан по городу, не умея толком объяснить по-русски, что он ищет. И вдруг совершенно неожиданно очутился перед металлической оградой, за которой ходили люди в белых халатах. Белые халаты — их только врачи носят, Яшка это хорошо знал: иногда они к маме приходили. А раз это врачи, то это и есть то место, куда Фридриха увезли. Облегченно вздохнув, он уселся под

этой металлической оградой. Брата дожидаться. Не может же брат долго там находиться, раз Яшка его ждет. А уж он сколь придется, столько и будет ждать: денно и ночью, если надо будет. Без Фридриха куда ему? Без Фридриха пропадет он совсем. Брат сам всегда так говорил.

Фридрих был хоть и не маленького роста, но больно уж щупленьким: кожа да кости. Зато сообразительный и на язык бойкий, и люди охотнее подавали ему. Яшка же, наоборот, не по годам крепкий, сбитый хлопец, почти на голову выше брата. И просить милостыню совершенно не умел. И не только потому, что почти не говорил по-русски: была в нем какая-то врожден-



ная застенчивость, что сковывала язык и не давала произнести ни слова. С детства он просто боялся посторонних людей и случись в доме какой гость, на все это время забивался в угол. И всегда все делал молча. Как ни пытался научить его Фридрих «эффективно» просить милостыню, кроме «подайте, ради Христа» он так ни разу и не произнес ни одного слова. Если же кто-нибудь сердобольный начинал вдруг задавать вопросы о житье-бытье, Яшка моментально цепенел и Фридриху стоило больших усилий привести его в чувство. Зато обладал он огромной, просто недюжинной силой, которая иногда оказывалась очень кстати. Большой, белоголовый, с печально-угрюмым взглядом, он так мастерски научился драться, что даже мальчишки повзрослее Фридриха опасались дразнить эту пару 11  нищих. Но чтобы поддерживать эту силу, нужно было ее подкреплять хлебом насущным, которого хватало далеко не всегда. «Ох, пропадешь ты без меня,» — не по-детски серьезно сокрушался Фридрих, не подозревая, что произойдет это так скоро. И в голове Яшки мысль, что брат может умереть в больнице, как мерли от тифа другие, не могла уместиться. Хоть и пытался ему кто-то из медперсонала объяснить, что, мол, не отирай тут углы, нет здесь твоего брата, никак не мог он взять это в толк. И только сконфуженно улыбался, и упорно продолжал ждать. Трое суток просидел он у ограды, и так бы и сгинул в ожидании Фридриха, если бы не увез его к себе в деревню один зажиточный не-

мец-мельник, у которого тут умер сын. Расспросил он мальчонку, пошел и выяснил, что нет здесь его брата. Он — в другую больницу. И там нету, в живых. А кто помер, так не все же при документах мрут. Ну, и забрал парнишку с собой. Увез и ни разу не пожалел потом. Потому что работал этот молчун за троих и ничего не требовал. Хозяин не мог нарадоваться на работника, а Яшка свыкся с его семьей и вскоре стал у них считаться своим. Единственно, что омрачало его существование, это непреходящая, безысходная тоска по родителям и особенно по брату. Желая хоть как-то ободрить мальчишку, хозяин время от времени посылал запросы в разные ведомства. Но Фридрих Габт в ответах ни живым не находился, ни в мертвых не числился. Пожалуй, около пяти лет так прошло. Куда только он ни писал, а разыскал-таки Яшке брата. А разыскав, не скрыл от него и адресок вручил. Хоть и жаль было терять такого работягу. Да, водились тогда еще совестливые люди, водились. Оказалось, не помер тогда Фридрих. Не зря, значит, не мог поверить в то младший брат. И приехал за ним счастливый Фридрих, также безуспешно разыскивавший Яшку все эти годы и увез в Ленинград, где имел работу и комнату в общежитии мостостроителей. Пять лет настоящего праздника было у Якова. Да и как не праздника, если и работа есть, и крыша над головой в молодежном общежитии, и друзья искренние. Были и такие, что не прочь разыграть деревенского парня. Пользуясь его доверчивостью, научат, бывало, како-

му-нибудь слову непристойному и пошлют к девчатам на второй этаж, будто попросить что-то. Он и пойдет. Хоть и прогонят его с визгом девчата, а хохот-то потом с обеих сторон. Но придумывалось все это в то время без всякого злого умысла; ни о какой неприязни к нему, как к немцу, не было и речи. А он, смущенный и обиженный, раз за разом зарекается ходить наверх по просьбе того насмешника. Но пройдет подольше времени и уже другой попросит отнести или передать что-нибудь. И опять — потеха. Вот так и пришел он в очередной раз к девчатам, а слово, которое передать велели, по дороге и забыл. Стоит, глазами моргает, вспомнить силится. Знают девчата, что опять ему парни пакостей наготовили, а все одно выжидают, да еще и подзуживают: ну, ну, мол, Яша, вспоминай, давай. И тут, заслышав родной акцент, порхнула к нему от стола новенькая работница, что, мол, ты скажи мне на немецком, с чем пожаловал, а я и переведу. Яков ее уже на стройке заметил для себя, только подойти все боялся. Как увидит — оробеет и спрячется куда подальше. Осторожно, чтобы никто не заподозрил да не надсмеялся над его чувствами, выведал он, что зовут ее Варя, и тоже, как и он, приезжая. Но что она немка и в общежитии живет — не знал. А то бы забоялся и ни за что не пошел к девчатам этим. И когда она обратилась к нему, онемел парень и даже свой немецкий забыл, и начал лопотать по-русски что-то невразумительное. Потом вдруг прояснилось в голове и вспомнил он то слово русское, будь оно неладно. Он

его так и брякнул. Прямо в лицо ей выпалил. Охнули девчата, потом взорвались громким хохотом, а эта, его мечта, вспыхнула вся и на глазах — слезы. Растерялся Яков: хоть и ненароком, а обидел девушку; с жалкой физиономией протянул к ней руку, что, прости, мол, не виноват я, не нарочно это. И она не отпрянула в гневе, как того можно было ожидать, а только чуть коснулась его руки. Тогда развернулся он, пробормотал невнятно, что, мол, щас я, махом вернусь, и ни слова более не говоря, покинул комнату. Прошел размашисто через весь длинный коридор, а через минуту-две там же гулкое эхо разнесло его тяжеловесную поступь и следом топот ног, и шум на разные голоса. Остановил Яшка гогочущую толпу парней за дверями, а сам ввалился в комнату к девчатам. На плече он им принес сложенного пополам озорника-подстрекателя, свесившегося башкой вниз за его спиной: бедняга то орал благим матом, то униженно молил о пощаде. Встав посреди комнаты, Яков сгрузил его пред их очи, ровно куль с мукой.

— Вот! — показал он на парня, — пусть сам расскажет, что ему было нужно. — Молодой человек попытался вскочить, но почувствовав его руку на шее, присмирел. А Яшка встретился глазами с Варей и — все. Никого больше для них в комнате уже не существовало. Такая вот любовь случилась. Он подал ей руку.

— Пойдем отседа?

Она кивнула и выбежала об руку с ним под завистливые взгляды подруг. Вот они досаду-то свою в сердцах

и выместили на оставшейся Яшкиной жертве. Потому как незадачливый насмешник под громкое улюлюканье вылетел оттуда в весьма уже потрепанном виде. Это Яшке, на которого они заглядывались, могли девчата простить непристойную лексику, но никак не носителю великого и могучего языка русского. После этого Яшку никто больше разыгрывать не отваживался.

Долго бродили по городу молодые люди. И если бы Варя была бы столь же «разговорчивой», сколь Яков, вряд ли они бы выяснили в этот раз, что они не просто одной нации, а еще и с одного села! Только тут он, наконец, раскрепостился и засыпал ее вопросами. А при расставании в коридоре общежития он после недолгого раздумья сказал ей:

— Хотел я тому озорнику сегодня бока намять, а не буду. Ведь я бы не увидел тогда тебя. — И эти его слова сказали Варваре больше, чем если бы он признался ей в любви.

— Не надо, не трогай его, — согласилась она, и приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку.

Так и получилось: ехала Варя на заработки из того самого села, из которого Яша с братом уходили с сумой за милостыней, а приехала, чтобы связать здесь судьбу со своим земляком. Ну, что ж, бывает. На всю жизнь нашли они друг друга в Ленинграде городе. Долго не тянули и, взяв отпуск, через каких-нибудь полгода сыграли свадьбу на родине, в родительском доме Варвары. И как первенец появился, дочка Кристина, Яков их тут

же отправил назад к ее родителям, которых любил как своих собственных. Теперь за Варю он был спокоен. Хоть это успел сделать, времена-то пошли не то что тревожные — совсем из ряда вон! Фридрих же и того не сделал со своей семьей. Он уже в мастерах ходил и в работе сильно был уважаемый. Оттого и не боялся ни за себя, ни за семью. Но приехали и за ним. А через недели две воронок подкатил и за Яшей. Подкатил, чтобы упечь ни в чем не повинного парня на десять лет каторги.

Глава 2

Яков

Зона явно не хотела отпускать Якова. Полуторка, в кузове которой он ехал, укутавшись в тулуп, внезапно зачихала-застреляла, несколько раз дернулась, рывками пытаясь набрать скорость и встала намертво. Шофер выскочил из кабины и, костеря на чем свет стоит допотопную технику, откинул капот. По выражению его лица Яков догадался, что дела их плохи. Почуяв неладное, вышел из кабины и дремавший конвоир Федор. К тому времени отъехали они от зоны уже километров на пятьдесят и до станции оставалось всего каких-нибудь пять-шесть. Но на немой вопрос-надежду Якова Федор энергично мотнул головой и кратко сформулировал отказ.

— Не положено пешком, дядя. Да еще и буран вон будет.

И никакие доводы, что он уже свободный человек и бежать ему не резон, воздействия на молодого сержанта не возымели. Больше того, когда к просьбе Якова присоединился и шофер, дескать, тут хорошей ходьбы-то

всего на час, Федор обозлился и многозначительно тронул рукой кобуру.

— Ты вон лучше бы машину завел, а не давал дурные советы. В тайге, да еще в буран, мало ли что может случиться: а я потом отвечай? Да с меня же башку снимут. А мне она пока дороже твоей. Не заведется — вернемся в шестой. Мы от него всего полкилометра отъехали. Там и буран переждем.

Машина не завелась, а разбушевавшаяся вьюга начала марта задержала их в шестом лагере на целую неделю. Якову она показалась вечностью и напомнила ту невыносимую тягомотину воркутинских лагерей в полярную ночь, когда он от безделья был близок к потере рассудка.

18 Буран стих так же внезапно, как и начался. Но теперь на месте не оказалось Федора. Все эти дни он отирался в поселке за зоной, раз в день навещая Якова в штабном бараке, где тому выделили койку в пустующем кабинете. А теперь исчез: как и полагается — со всеми документами своего подопечного. Только через день обнаружили его в поселке у одной дамы, известной большинству охранников лагеря сильно большой своей любвеобильностью, и с трудом привели в чувство. Видимо, возлияние было настолько обильным, что на сержантика было жалко смотреть. Но как ни зол был Яков, а готов был хоть на руках его нести до станции, лишь бы покинуть опостылевшие эти края. Ну, на руках нести не пришлось, потому что шофер Толик успел за

эти два погожих дня притащить в зону на буксире свою полуторку и устранить неполадки.

В общем, худо-бедно добрались они до железки в версте от станции, где полуторка вновь благополучно заглохла. Но тут уже Федор, чувствуя свою вину, сам предложил топтать по рельсам и совсем скоро очутились они внутри крохотного вокзальчика. В зале было тепло и почти безлюдно. Лишь трое потенциальных пассажиров дремали, сидя на лавках. В одном углу на крепком табурете стоял жестяной бак с подтекающим краном и тазом внизу. Сбоку на табурете — цепочкой привязанная к крышке бака алюминиевая кружка. Федька с наслаждением загасил пожар души парой кружек ледяной воды и теперь Яков следил за тем, как он, немного оживший, — прогулка вкупе с «живой» водой явно пошла ему на пользу! — заигрывал с кассиршей. Рядом с ней находилась девушка постарше в форме железнодорожника. И обе они благосклонно внимали шуткам симпатичного сержантика, при этом кассирша выписывала ему по справке билеты. Получив их, Федька быстро метнулся к Якову и хитро подмигнул:

— Держи, дядя. До самого-самого конечного твоего пункта. Ну, ты пока поразвлекайся, а я пойду погорюю. — Он скинул полушубок на лавку и, поправив кобуру, приосанился. — Присмотри тут. Я быстро, — и шмыгнул в приоткрывшуюся дверь кассы. Вскоре оттуда донеслось характерное бульканье жидкости и глуховатый звук состыковавшихся стаканов. А следом

и повеселевший голос Федыки, и звонкий девичий смех. Поскольку кассирша не отходила от своего окошечка, можно было предположить, что развлекает сержант ее подругу.

Яков принялся изучать билет: до прихода поезда оставалось ни много, ни мало — шесть часов. Целая вечность! Но он нисколько не огорчился. Наверное, впервые за последние годы он не торопил время. Наоборот, хотелось подольше посидеть вот так с закрытыми глазами. Не опасаясь никого и ничего. Методичное бульканье капель, срывающихся из крана в таз, чуть слышный монотонный говор за стенкой кассы, все это напоминало о чем-то очень далеком, до боли памятном и уютном, но позабытом за суматохой лет. И эта уютность располагала к размышлениям.

Он достал письма Вари и долго смотрел на них: перечитывать их не было необходимости, так как уже почти наизусть выучил каждую строчку. Не знал все это время Яков, не ведал сколько страданий пришлось перенести его жене. Перед глазами снова и снова возникал образ ее отца, директора сельской школы Франца Бека, единственного человека на всю округу, имевшего высшее образование; и его жены Кристины — тихой, застенчивой женщины. Какой мог быть из учителя враг народа? За что его расстреляли в тридцать седьмом? Ответ на такие вопросы Яков, сполна хлебнувший большевистской «справедливости», хорошо знал, и потому не задавал их себе сейчас. Его лучшие друзья в лагере, к мнению

которых он прислушивался, тут были единодушны: людей расстреливают просто для устрашения других. Один из них даже утверждал, что мастерам заплечных дел на это дается план, и они должны его выполнять любой ценой. Так же, как, скажем, план по забою скота. Разница лишь в том, что скота хватало не всегда, а людей — хоть отбавляй. О расстреле отца Крестину с Варварой известили справкой, и дали указание в трехдневный срок покинуть пределы села на расстояние не менее ста километров. Уезжать было некуда; только в далеком Казахстане у матери жила двоюродная сестра Люба. Она-то и приютила их на первое время. Это ее адрес стоял на последних двух конвертах, и даже вот этих писем не довелось ему прочитать в свое, предполагающееся для них время.

Яков тяжело вздохнул. И так, пять лет каторги, из причитающихся ему десяти, позади. Других целых пять он по какому-то неведомому чуду оставил хозяину. Но та мечта, с которой он жил, которую лелеял все эти годы, все же не сбылась: въезд в Ленинград ему был запрещен. Мало того: до самого его теперешнего места жительства где-то в Казахстане его будет сопровождать вот этот конвойр Федька. Глупость, конечно, со стороны властей, но как будто прочитали они мысли Якова. Да, шансы посчитаться с человеком, погубившим его брата Фридриха стали равны нулю. Странно, но это только усилило его жажду мести. Собственно, это давно уже превратилось в наваждение. «Не радуйся, — мысленно

грозил он оперу, — это только отсрочка». И успокаивал себя, что это его не остановит. Сколько бы ни прошло лет, возмездие за брата он все равно совершит.

Мстить за себя, безвинно осужденного, Яков никогда не собирался: хоть и по незнанию, и не по собственной воле, но подписал он ту бумагу, по которой осудили их обоих с братом. А то, что подписать вынудили обманом, по безграмотности его, так это даже никому и неинтересно знать. Оттого-то и злость на себя, на беспросветную свою глупость была ничуть не меньшей, чем на того опера энкавэдэшника. Но себе-то он уже отомстил сполна за эти годы. Вот этой своей скотской жизнью отомстил. С опером же посчитаться только мечталось. Он так и стоял перед глазами: в военной форме, подтянутый, вежливый, красивый, с хитрой улыбкой и вкрадчивым голосом. Яков и сейчас слышит его...



Глава 3

Лагерь

— Ну что, Габт, — приветливо и доверительно, как давнему знакомому, сказал военный, — скрывать от тебя не стану: проблем у нас в стране... сам знаешь. Так что давай, браток, с тобой по-честному, по-мужски: тут вот твой брат показывает, что вы с ним границу готовились перейти, так? Ну, и передал тебе, чтобы и ты признался и расписался чтобы. Вот тут. И тогда ему ничего не будет. У нас ведь как: признание — половина наказания, сам знаешь. Да и слово большевика я тебе даю: бумажку подпишешь — и сам пойдешь на все четыре стороны, и брата выручишь.

А это, как я понимаю, для тебя — главное! Разве нет? Да ты почитай, почитай о чем он просит.

Замаялся Якоб — стыдно признаться, что неграмотный.

— Дак ни про какую границу не знаю, — пожал плечами в сомнении, — но раз Фридрих говорит, значит так может быть. Только зачем ее переходить-то?

— Ну, мало ли, — усмехнулся следователь, довольный тем, что не пришлось бить этого увальня. Руки-то он сегодня и так уже отмахал «уговаривая» несговорчивых. — Да ты на это внимания не обращай, это роли никакой не играет. Главное, брата твоего сразу освободят. Вот скоро с ним свидитесь, он тебе и расскажет — зачем.

Все еще сомневаясь, поставил Яша свои каракули на бумаге. Военный такой приветливый, добрый, разве такой обманет?

Обманул опер, надурил Яшку: не свиделись они больше с Фридрихом. Откуда было знать неграмотному парню, что подписывая признание, он подписал приговор и себе, и брату на 10 лет каторги. Что не было в той бумаге никакого признания Фридриха. Как не было и просьбы подписать ее. Что его брату, вконец замученному, подсунут ту самую бумагу с его, Яшкиной, подписью, и только тогда он сломается, и тоже подпишет такую, но это будет уже не важно для него: умрет он от полученных побоев прямо в камере. Только расскажет сокамерникам, что обдурили его младшенького единственного братца. Все это узнает Яков уже через много времени на одном из этапов от очевидца смерти Фридриха. И ожесточится сердцем, и зарок себе даст: «все снесу, все стерплю, все сколь дали — высижу, но опера Козлова вот этими руками удушю за брата». И совсем замкнется в себе.

Много помотало его за эти годы по необъятной отчизне, и вот в конце концов этапировали в Вологодскую

область. Ну, знамо дело, на лесоповал. Приехали на голое место, в тайгу необжитую: как раз они-то, самые первые, и закладывали здесь будущее поселение и спали на тридцатиградусном, а то и больше, морозе на еловых ветках. Это ж январь стоял, самый разгар зимы. Сначала, понятно, сами себя отгородили «колючкой», чтобы легче было в кучу собираться, да вышки поставили, с которых, опять же, легче было за ними присматривать. А присматривать надо было, потому что пытались бежать люди: если оставаться здесь означало неизбежную смерть от холода и голода, то побег — хоть и призрачная, но надежда. Но, как правило, конец и тех, и других был одинаков: окоченелые трупы вывозились зимой в таежные сугробы, под яру заледеневшей речки. Подальше от зоны. И точно такие же окостеневшие трупы привозились после побегов из тайги на опознание. Опознают и также к речке, в тот отвал: вроде как место там прописанное, ну и как бы не совсем безымянным помер человек. Если что, так, мол, «а, этот, так он вон там, у яра, похоронен». И это уже не то, что если бы в тайге пропал околевши, совсем в неизвестности. Гуманизм — он всегда жалостливый. Из первой партии в тех волчьих условиях выдюжило человек пять. Даже не все конвоиры дождались теплых барачков: скопом мерли люди. Сам Яков знал, что помогло ему выжить: во-первых, никогда не боролся за место поближе к костру, а наоборот, держался поодаль. И никогда не навдеывал на себя лишние тряпки,

даже если такая возможность появлялась. Этому научил его на самых первых порах еще в лагере под Архангельском многоопытный зэк, большевик старой закалки, сживавший еще при царе-батюшке. Как он сам любил выражаться: «Мы для самих себя с таким трудом завоевали эту власть, что даже не заметили с какой легкостью сменили одни тюрьмы на другие». Вторых, конечно же, его неприхотливый, привыкший к лишениям организм. Но организм могучий от природы и, что немаловажно, не знавший табака и спиртного. С его комплекцией, казалось, требовалось, как минимум, две-три порции баланды, но он вполне обходился положенным, да еще и ухитрялся не за раз съесть пайку хлеба. Здесь через два года они и встретились с Адамом. Тот уже семь лет успел отбарабанить. Был и на Беломорканале, и в Воркутинских лагерях. А Яков и сам не понаслышке знал условия, в которых находились зэки Воркуты. В течение месяца изо дня в день «убирал» он там территорию лагеря: сегодня перебрасывал снег от барачков к воротам, завтра — наоборот. Бесцельная, тупая, но — работа. Потому что для нормального человека — не урки! — сидеть все время в бараке, — кратчайший путь к потере разума. Тем более непонятно ему было, каким образом Адам — такой невзрачный человечек — смог там выжить. Вообще-то немцы в их зоне были, в основном, из швабов, но ни с кем еще не сходилась Яков в дружбе. Он так и жил особняком, с затаенной в сердце скорбью о родителях, о семье, и

разрывающем сердце чувством вины перед мертвым Фридрихом. Отсюда и исходила неугасимая жажда мести. Она стала его единственной целью в жизни: выжить, вернуться в Ленинград и рассчитаться с тем энкаведэшником. О, сколь несчетное количество раз попадался ему в руки тот офицер-хитрюга: и в снах, и в дневных грезах! Но какую бы кару ни придумывал ему Яков, казалась она ему ничтожной в сравнении с тем, что сотворили с ним самим! И он целенаправленно подогревал себя мечтой о встрече с опером, как только чувствовал, что притупляется боль утраты родного брата. А очнувшись от очередного видения с удовлетворением отмечал, что готов совершить возмездие. Как ни странно, мысль эта еще больше поддерживала его жизненный тонус. Наверное, не он один жил и мыслил такими категориями, ведь большинство заключенных были осуждены совершенно несправедливо. Без вины виноватые. И у каждого из них была та же скорбь и тоска, и ненависть: все они были лишенцами. Всего. Но вот в Адаме, этом махоньком мужичке, он интуитивно почувствовал то, чего ему недоставало. В нем чувствовалась какая-то внутренняя сила и большая, нежели у других, уверенность в себе. А громадный жизненный опыт и обретенная за годы каторги мудрость помогали доходчиво объяснить то, чего Яков никак не мог понять. Главное же, что вызывало неизменное уважение всего контингента лагеря: он ни от кого не скрывал, что верит в Бога. В лагере были верующие, но

боясь насмешек и даже издевательств, они старались лишний раз не показывать этой своей веры. Этот же, наоборот, при любой возможности начинал разговор о Боге, и странным образом, никто его не осаживал. Не принимали всерьез — да. Сплошь да рядом. Бывало и смеялись. Но не надсмеивались. Случавшиеся его споры с десятником Аркадием Сломским зэки всегда слушали с искренним интересом. И, завидев другой раз его в обществе Адама — будь то в бараке или на деляне — спешили присоединиться.

Глава 4

Сломский

Самого Сломского побаивались даже уголовники. Бывший царский офицер, воевавший на стороне большевиков, а потом бизнесмен в годы расцвета нэпа, он чудом избежал «вышки», и от полученной «пятнашки» до свободы ему оставалось каких-то пару лет. Несмотря на это обстоятельство, когда любая ничтожная провинность могла стоить нового срока, он был единственным десятником, который никогда не пресмыкался перед начальством, а иногда мог даже отстоять нужного ему работягу. Главное, он не давал поблажек уголовникам. Больше того, пресекал всякие их попытки «выезжать» на притесняемых ими безответных «мужиках». А такие безответные здесь были, и не так уж и мало. Раздавленные обрушившейся на них бедой, они не понимали, что с ними происходит: боялись всего и вся и безропотно подчинялись любому давлению. Ко всему прочему, на участке Сломского было меньше всего несчастных случаев и нарушений режима. А что касается всякой бумажной волокиты, то тут ему

вообще не было равных. Собственно, каждый отчетный период он негласно возглавлял в конторе весь производственно-технический отдел. Был он убежденным атеистом, и когда впервые случилось услышать на деляне рассуждения Адама о смысле жизни, заинтересовался и присел рядом с другими зэками. Было это во время перекура. Вместе с ним присоединился к разговору и его закадычный друг, лагерный художник Сева Белов. В беседу Аркадий не вступал, но было видно, что воспринимает все рассуждения о Боге с легкой иронией. Наконец, не выдержал, встал, сокрушенно качая головой.

— Эх, российская ты простота, — похлопал он Адама по плечу. — Ему плюй в глаза, говорит, что божья роса. — И обращаясь больше к Белову, чем к остальным слушателям, пустился в рассуждения. — Все это, брат, мы уже проходили. Почему-то думалось, что у нас давно уже покончено с религией. Ан, нет! Ну, видел покорных, готовых подставить шею под любое ярмо, но чтобы вот таких... безнадежно услужливых... Это как же у вас со Христом выходит, а? — Теперь он взглянул на Адама. — Тебя, значит, по морде, а ты им — нате, пожалте, не изволите ли еще и по шее, или, как там у тебя, по другой щеке пройтись? Так, что ли? Не-е, тут ты, брат, перемудрил, сильно перемудрил.

— Перемудрил, да еще как, — поддержал его Сева. — Хуже всего, что такие вот начетчики учат людей пресмыкаться перед силой. Вот урки и верховодят ими. Наслушается зэк таких идей и боится в свою же за-

щиту даже пальцем шевельнуть. — И этот говорил отвлеченно, с видом превосходства, вроде как никого рядом, кроме их двоих со Сломским и не существовало. Потом насмешливо обернулся к Адаму. — Что ж ты, Петька, Ванькин брат, людей своими нравами с толку сбиваешь? Ну, нравится тебе то ярмо таскать — таскай! Другим-то оно зачем?

— А разве я говорил про любое ярмо? — вопросом остановил его Адам, как бы не замечая прозвища. И сам же ответил. — Не-ет. Я говорил про ярмо Христа, про Его иго.

— Иго, браток, как и ярмо, чьим бы оно ни было, всегда остается только игом и ярмом, — снова отечески похлопал его по плечу Сломский. — И годиться оно может только людям слабым, готовым его носить. По-³¹тому и вера ваша для слабаков.

— Ну, что ж, справедливо, — неожиданно для всех согласился Адам. — Вера нужна людям слабым. Христос и правда помогает слабым и отчаявшимся, тем, которые признали себя немощными грешниками. Но в этом-то и величие веры. Вряд ли она нужна людям, считающим себя сильными. Сильные ведь не нуждаются в дополнительном источнике силы. Вот Вы, несомненно сильный человек, не так ли? — обратился он к Сломскому. — И Вы, Сева?

Друзья иронично переглянулись.

— Смею так думать, — проронил Сломский. — Или у тебя есть причины для сомнения?

— Нисколько. Я даже не сомневаюсь, что, как человек сильный, Вы не нуждаетесь в чьей-либо помощи. Но здесь большинство из нас чувствует себя слабыми. Только вслух не всякий готов это признать. Мы обременены страданиями и ежедневным ожиданием смерти. Мы слабы не только физически, но и духовно. А упасть духом намного страшнее, чем ослабеть плотью. И я один из тех, кто однажды почувствовал это и признал себя слабым. Познав же это, смог найти силу в вере в Иисуса. Скажите, если бы Вы смогли выделять из своей силы другим, более слабым людям, считали ли бы Вы это для них игом?

— Эк, ты куда хватил, — покачал головой Сломский. — К твоему сведению именно это я и стараюсь делать. Но если я выделяю кому-то из своей силы, то это называется помощью, и она зрима. Человек ее чувствует. Он может это пощупать. Я не уговариваю слабого раболепствовать перед насильником, а призываю дать сдачи. Это не иго. Все остальное — иго, ярмо, как хочешь назови. Пусть даже от Христа.

— Но Ваша помощь временна...

— А у Христа постоянна? Хм, постоянное иго. Ужас! Что может быть тяжелее постоянного ярма?

— В том-то и дело, — просиял Адам. — В том-то и дело, что нет ничего легче бремени Христа. — И заторопился, словно испугавшись, что его не дослушают. — Слушайте, что Сам Христос говорит: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,

и найдете покой душам вашим; Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.» — Вдумайтесь в эти слова и узнайте, что Сам Бог смирен сердцем! Там, где есть смиренное сердце, разве можно ожидать зла? Даже если оно у человека. А здесь Сам Бог! Разве это не чудо, что Он предлагает покой нашим душам? Разве есть этому хоть какая-то разумная альтернатива?

Друзья, собравшиеся уходить, многозначительно переглянулись.

— Вон ты куда, — медленно пропел несколько ошеломленный вдохновением Адама Сломский. — Альтернативы захотел? Ну, что ж, давай спустимся тогда с небес на землю. У тебя ни разу еще не отбирали твою пайку? Нет? Вот когда отберут — а по твоей теории ты должен будешь предложить еще кое-что имеющееся, тогда и... 33

— Пусть только попробуют, — пробубнил вдруг молчавший все это время Яков и передернул плечами. Такое неожиданное заступничество вызвало оживленное веселье и сняло ненужное напряжение. Занятно было услышать угрозу от этого угрюмого увальня, из которого и слова-то другой раз не вытянешь. К тому же слыл он мужиком трусоватым.

— Вот видишь? — улыбнулся и Аркадий. — Вот тебе и альтернатива. А ты говоришь: «Бог! Бога во всем благодари». Да с таким телохранителем оно тебе, конечно, и не страшно: вылитый Геракл!

Смешался Яков от своей опрометчивости, смотрит виновато на Адама, что, дескать, прости великодушно

за глупость нечаянную. Кажется ему, что навредил он другу.

Адам же, наоборот, смотрит с хитрым прищуром на Сломского.

— Если и случится ему защитить меня, так почему знать, что не от Бога это?

— Ну, а как не погодится рядом твой защитник? — вопросом на вопрос давил десятник. — Да отберут, да еще наподдадут, а? Будешь благодарить своего Бога? Ты ведь вроде ратовал благодарить Его за все, что бы ни случилось. (Никто из них и думать не думал, что эти его предположения очень скоро сбудутся. Одно к одному.)

— Буду, — совершенно серьезно ответил Адам и никто не усомнился в его искренности. — Потому что все, что от Него исходит, все идет нам на благо. «...Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.» Видите: снова — благо. А если все — то значит и это плохое, а не только хорошее, что нам кажется к душе. Ну да, когда нам везет, когда сбываются самые радужные мечты, то даже и атеисты говорят: «...это должно быть от Бога». Так ведь? Хоть и машинально, но говорите? А если чуть что не так, то Бога нету.

— М-да, интересные твои рассуждения. Ну, заходи как-нибудь к нам. Знаешь куда? Заходи, побеседуем, — подал руку на прощание Аркадий.

— Принимаю, — просто сказал Адам, не увидев в приглашении ничего необычного. Яков же почувствовал

гордость за друга. Быть приглашенным на беседу с уважаемым эком, да еще с таким образованным, как этот десятник — это уже кое-что значит.

А Сломский огляделся, прикинул что-то в уме. — Телохранителя бери с собой, — добавил шутливо. — Как его зовут-то? Яков? Ну, Геракл ему больше подходит.

На том и расстались.

Кстати сказать, с его легкой руки прозвище «Геракл» намертво приклеилось к Якову. Только для удобства произносилось оно как «Геракла». Но сам он отнесся к этому, как и ко всему прочему, с полным безразличием. Даже, когда узнал, чем прославился этот мифический грек.

Глава 5

Адам

36

А ведь кажется совсем недавно Адама встретили такими насмешками, что другой бы и не высовывался. Его сразу же нарекли Андреем и на валке, куда его определили, никто даже не хотел вставать с ним в пару: «Да я, че, его вместе с пилой тягать буду?» — под общий хохот заявил бригадиру один зэк. Вместе с другими засмеялся и Адам, и предложил тому поработать на спор. Оживились мужики — потеха предстоит! К их неудовольствию осуществиться спору не дал Яков: молча взял он Адама за руку, всем видом обозначив, что берет его в напарники. И, надо сказать, что даже он, выдавший виды, не переставал потом удивляться неиссякаемой энергии и ловкости хлипкого на вид товарища. Пилить с ним оказалось легко: он вел пилу плавно, тянул и отпускал без рывков и идеально ровно. Вот ведь «еле-еле душа в теле», а вроде и не знал усталости. С той поры они и стали проводить все время вместе. Не расстались даже тогда, когда Адама перевели на привилегированное положение: он оказался единственным человеком в лагере,

смыслящим в электричестве, так как «на гражданке» был действительно электриком.

А до того перевода состоялась-таки встреча Адама и Сломского со товарищи. О, то была встреча с лагерной интеллигенцией. И надо сказать, закончилась не совсем, чтобы мирно. Сам Аркадий еще как-то пытался дискутировать и Адам ответил на пару его вопросов. Но на этом диспут и закончился. Потому что его друзья каждое слово Адама встречали с плохо скрываемым раздражением и с такой яростью наседали с вопросами, почти не давая ему раскрыть рта для ответа, что Яков даже забоялся за него. В своем устремлении приземлить Божье слово и побольнее уколоть проповедника, эти просвещенные зэки явно старались перещеголять друг друга. Даже уголовники в случавшихся иногда беседах с Адамом вели себя не так враждебно.

— Ну, успокойтесь, коллеги, дайте человеку высказаться, — пытался урезонить друзей Сломский.

Куда там. Наперебой клеймили они в лице Адама всех верующих и весь смысл их речей сводился к одному настойчивому совету: «не компасировать людям мозги». (У Якова это выражение так и ассоциировалось с компасом, бьющим по мозгам). Да и сам Сломский хоть вроде их и уговаривал, но удовлетворения от такого единого порыва не скрывал. Войдя в раж один из них приравнял верующих к самым одиозным надзирателям лагеря, так как не видел разницы между теми, кто издевается над людьми и теми, кто им потакает, призывая

«к смирению перед извергами». А когда Сева назвал Библию (которую, как он с гордостью сообщил, ни разу не держал в руках) еще одним камнем преткновения на пути к свободе, стало ясно, что диалога не получится. На том и расстались. Проводил их Сломский до выхода из барака и руку протянул в знак извинения за не совсем дружеское обхождение.

— Уж не обессудьте, что так встретили. Сами видите: не до Бога людям в нашем положении. Тут уж не до жиру — быть бы живу.

— Нет, дорогой Аркадий. Как раз здесь и должно взывать к Богу. В этой скорби людской тот и выживет, кто имя Бога призывать будет.

— Посмотрим, посмотрим. Я вот вспомнил вдруг одного вашего проповедника: видел я его раз на диспуте в Москве. Ну, не на таком, как наш сегодняшний, — развел он руками и снова улыбнулся. — Так вот он тоже что-то подобное утверждал. Марцинковский, кажется.

— Ты встречал Марцинковского? Вот это да! — просял Адам. Незаметно даже для себя он перешел на «ты». — Я тоже несколько раз ходил на его диспуты. И как — тебе нравилось?

— Занятно говорил, занятно, — не снимал улыбки Сломский.

— А я и сейчас будто слышу его голос: «Принимая Евангелие, мы испытываем удовлетворение; отвергая его, мы страдаем»...

— Все это слова, дорогой Андрей, всего лишь сло-

ва, — назидательно произнес Аркадий. — И не таких ораторов слышал я на своем веку. Оракулы приходят и уходят. Если бы следовать за каждым из них: страшно подумать, что бы было. Они приходят и уходят, а мы остаемся, потому что не следуем их призывам. — И повторил с иронией в голосе. — Вот и этот: говорил-то он занятно. Только где же он сейчас? Не скажешь?

— А где мы с тобой, Аркадий?

— М-да, — спохватился и потемнел Сломский.

— Ты сказал, мы остаемся, потому что не следуем их призывам. Но другого-то оракула вы все же послушали? Послушали. И мало того — боготворили. И что? Все мы теперь вот здесь. Все: и кто слушал, и кто не слушал. Я ни разу не затронул эту болезную для тебя тему, Аркадий. Тему свободы. Не стал перечить и твоим друзьям, когда они вот только что сами затронули ее. Да они и не дали бы мне говорить. Но напоследок спрошу: за такую ли свободу ты воевал с такими же как и ты, сильными людьми? Конечно, нет. Потому что свободу — истинную, а не надуманную — нельзя завоевать. Ее можно подарить. Как дарит нам ее Христос, когда освобождает от грехов. Свобода без Христа в сердце всегда была и останется всего лишь пустым звуком. А если свободой начинают распоряжаться очень сильные люди, то звук этот становится для кого-то еще и смертельно опасным.

А раз так, то и ограничить его пытаются, как правило, колючей проволокой. Она хоть и не преграда

звучу, и он вроде бы и слышен, но далеко уже не распространится. А Марцинковский за границей, и оттуда слышно его слово. И слава за это Богу! Мне кажется, Он предусмотрел это. Вот что я хотел сказать тебе напоследок, Аркадий.

За время его монолога Сломский не проронил ни слова. Видно было, что он размышляет и взвешивает слова Адама.

— Ну, в общем-то... знаешь, — наконец вымолвил он, — это долгий разговор.

— Аркадий, если когда-нибудь случится, что ты почувствуешь себя слабым, вспомни о Боге. О том, что бремя Его легко. Вспомни вот этот наш разговор.

— Нет, Андрей, я не ослабну. Меня не так-то просто сломить. Им, — махнул он рукой в сторону вышек, — пришлось бы сильно потрудиться на этот счет. Хотя фамилия моя вроде это предполагает: Сломский, да? Нет, слабым я не стану. Но разговор наш буду помнить. Хороший разговор получился. — И попрощался. — Еще встретимся, надеюсь.

— Так и я надеюсь, — кивнул Адам и вышел вслед за Яковом.

И они были еще потом, эти спонтанные встречи со Сломским, и всегда превращались в жаркую дискуссию между ними. Якова же после таких бесед раздирали противоречивые чувства. Сломский был для него олицетворением силы и отваги. Адам был мудрым, задушевым другом. После одной такой беседы они, несмотря на

мороз, молча и неспешно вышагивали к своему барaku. Куда спешить: прогулка по морозу — полная гарантия не быть подслушанным.

Было свободное для зэка время: после ужина, незадолго до поверки. Яков был уверен, что Адам расстроился этой очередной встречей: опять они крепко поспорили со Сломским — и не тревожил его расспросами. Мороз крепчал, и время от времени они привычно похлопывали рукавицами, разогревая руки. Месяц, вынырнув из-за дальней сопки, развесил свой рог аккуратно над верхушками деревьев. Зэкам вечерами только он и виден на небосклоне; небо над зоной всегда черное и звезд на нем из-за прожекторов на ее территории увидеть невозможно. Зато сугробы сметенного к баракам снега искрились от их холодного свечения и вспыхивали мириадами слепящих бусинок. А здесь на дороге снег гулко и тревожно скрипел под ногами. Казалось, вся зона скрипит от шагов снующих туда-сюда зэков.



— Оно тебе надо? — словно продолжая разговор, обронил, наконец, Яков.

— Что? — встрепенулся Адам. — Что ты имеешь в виду?

— Ну, вот эти встречи все? То с ворьем, теперь вот с Аркадием, с дружками его? Зачем?

— Но Яков, это же нормально, что люди хотят услышать о Боге. Друг на друга-то мы давно перестали надеяться, не так ли?

— Не-е, какая на человека надежда? Тут на себя-то не надеешься другой раз, а уж на другого... Какая там надежда.

— Я и говорю: никакой. А знаешь, Яша, ты ведь сейчас слова из Библии повторил.

42 — Как так? — как вкопанный остановился Яков.

— Вот так. В Библии так и записано: «Перестаньте вы надеяться на человека... ибо что он значит?» — А в другом месте: «Кто на себя надеется, тот глуп». Видишь, не прочитав еще ни одной строки из Библии, ты, однако, процитировал из нее слова. Так что, считай, мы с тобой занялись ее изучением. — Адам улыбался.

— Скажешь тоже, — смутился Яков.

— Да-да. Люди часто говорят целыми изречениями из Библии. Хотя сами того и не подозревают. Думаешь, простые коммунисты знают, что сплошь да рядом сыплют цитатами из Библии? Да ни синь-пороху. А вот их главные вожди знают силу Божьего слова и очень хитро прикрывают им свои делишки. И это, Яша,

самое страшное лицемерие, какое только может быть на земле. Например, они не устают повторять призыв к мирному труду: «Перекуем мечи на орала!» Да? И в это же время под корень уничтожают землепашцев. А ведь это пророчество Исайи о Господе к народу. Когда Он будет судить народы и научит их Своим путям. Так и написано: «И научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его... И обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копыя свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Вот оно как, Яша. Перекуют и пойдут по Его стезям. Обратятся, значит, к Нему. Значит ли это, что коммунисты призывают идти к Богу? Да скажи об этом сейчас любому из них — со страху помрет. Будет он после этого и дальше повторять такие слова? Не-е, брат. Да он десять раз оглянется тогда, прежде чем сказать. Потому-то их вожди и боятся открытого диспута о Боге. Потому-то и Библию пытаются уничтожить, чтобы не прознали люди о них правду. А человек, любой — коммунист, не коммунист — когда обратится к Богу, вдруг обнаружит сначала с недоумением, потом с радостью: так я же это знал! Я же об этом слышал!

— Это что ж, выходит, под себя приноравливают Библию, что ли? — с удивлением уловил Яков главное из сказанного. — Ловко приспособились!

— Ловко, — согласился Адам.

— А когда же обращаются к Богу? Когда время приходит?

— Обращаются обычно, Яков, когда потеряно уже все, что можно потерять. Кто это понял, тот ищет Бога. Потому что где-то в самых укромных уголках души все же тлеет надежда на чудо: вот-вот что-то случится; вот-вот кончатся страдания и восстановится справедливость. А кто способен творить чудо? Только Бог. Верят в это и здесь и ищут Его. Необычно, своеобразно, но ищут.

— И уголовники, скажешь, ищут?

— Бывает, и кто-то из них. Они тоже чувствуют; подсознательно чувствуют, что «Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачует скорби их». Никто из них раньше даже и слышать не хотел о Его существовании. А вот пришло время и задумались. А я по мере сил пытаюсь объяснить.

— Может и задумались. Только сдается мне, что все это они с тобой в насмешку делают. Не пойму я зачем ты вот такому поганцу, как Левка Чума, что-то растолковать пытаешься. Это же шестерка Космодея. Какой ему Бог, если он на одни только пакости и способный. У него один бог — Космодей. Не нравится мне эта твоя затея, Андрей. Сколько волка ни корми... — Яков безнадежно махнул рукой. Увлеченные разговором, они так и стояли, забыв о морозе. Теперь снова продолжили путь.

— Он сирота, Яша, — немного помедлив, сказал Адам.

— Это он сам тебе сказал? Слушай больше: когда

надо, они про себя и не такое наплетут. Они документы-то и то подделывают, а уж сбрехать, что раз плюнуть...

— Нет, я не от него знаю. Левка — точно сирота. Да и видел я как-то раз его глаза. Сильно тоскливые глаза. Такие не подделаешь.

— Я не о том, — возразил Яков, — что сирота, не сирота. Сироты, те наоборот, понимать слабого должны, жалеть. А этот сморчок готов у самого последнего доходяги пайку отобрать. И его — не тронь! Он у самого Космодея в этих ходит... как его...

— Адьютантах.

— Ага. Ну, шестерка, в общем. А ты ему о Боге, а?

— Я сильно надеюсь, Яша, что он Бога услышит.

— Да и надейся, чего уж. Только если еще раз увижу, что этот твой Чумоватый кого обижает — пришибу на месте. Вот и Сломский говорит, что их, урок этих, выжигать надо каленым железом.

— Ты же знаешь, Яков, что я с ним тут несогласный.

— Дак ведь и они все с тобой несогласные; что урки, что антилигенты Аркадиевы. В тот первый раз не погодишь там он сам, они ж тебя разорвали бы. Хуже урок злые, хоть и антилигенты. А тебе все нейдет. И потом... — Яков замялся, — он же справедливости хочет.

Адам снова остановился. Он видел, что многое из того, о чем говорил Сломский, было Якову по душе и что мысленно он становился на его сторону. Аркадий не скрывал своей ненависти к лагерному режиму и выражал мысль, что все зэки тут сидят безвинно из-за происков

каких-то врагов. Но придет, мол, время, когда и на нашей улице будет праздник. И что люди должны стараться приблизить это время. В такие минуты — и Адам был уверен в этом — Яков был настроен так решительно, что позови его Сломский завоевывать тот праздник, он пошел бы не колеблясь. Образ всех надзирателей, конвоиров и их командиров сконцентрировался у него в образе энкавэдэшника, загубившего его брата: все они были для него одного поля ягоды. К тому же Сломский был единственным, кроме Адама, человеком, которому Яков рассказал свою историю и поделился самым заветным желанием. Надо ли говорить, что у Аркадия он нашел полное понимание и горячее одобрение. Тот даже пообещал разузнать об обидчике, вселив в него новую надежду. Все это огорчало Адама.

— Справедливости, говоришь? Давай посмотрим, Якоб, какой они хотят справедливости. Это ведь сейчас эти люди здесь, в лагере, делятся на эков и охранников. Я не имею в виду шпану. Уголовники — они испокон веку уголовники. Статус их не меняется от смены власти. А все сегодняшние политические, такие как Сломский с друзьями, были несколько лет назад при власти и власти немалой. И с теперешними охранниками были они одной командой. Кто-то из них еще, может быть, вчера ходил в комиссарах, а сегодня уже осужденный. Вот, Сломский: он же эту власть устанавливал, кровь за нее проливал. Свою и чужую. Скажи, почему же он здесь?

— Он же сказывал: несправедливо сидит. Ну, настучал кто-то.

— А кто справедливо — ты? Или я? Нет, Яков. Справедливо сидят здесь разве что те же самые урки. Да и то не все. Кто-то кого-то подставил, кто-то вообще по прихоти судьи невинно осужден. Остальные сидят здесь по вине самих людей; в том числе таких, как сам Сломский. И даже в большей степени таких, как он.

— Да это как же, Андрюша? — опешил Яков. — Он сидит уж сколько. На него настучали и он же виноват?

— А он и воевал для того, чтобы люди смогли стучать друг на друга. Правда, сам об этом не подозревал. Ну, не предусмотрели они этого. Смотри, Яша, что говорит Библия: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Понимаешь — добром! Они же пренебрегли словом Божиим и попытались искоренить зло насилием. И несколько лет вершили революцию, насаждая другое зло. Злее прежнего. Все наперекор Богу! Скажи, разве можно вызвать у людей добрые чувства, убивая их родных и близких?

— Да ну-у...

— Конечно, не можно. Они не просто отреклись от Бога — они извратили учение Библии и пользуются этим. Они изгнали Его из своих сердец и разрушили храмы. Ты только что сам это понял. И произошло самое страшное, о чем говорит Господь: «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». Поэтому, Яша, и постигла нас такая вселенская беда: уже давно

никакой внешний враг нам не нужен — мы сами жрем друг друга. Эти люди провозгласили свободу, равенство и братство, но, повторяю, без Бога — это всего лишь пустой звук. Смешно сказать, но как раз тех, кто поверил в это, кто этот самый лозунг принял за чистую монету, тех они и пересажали в первую очередь. В том числе и верующих. Чтобы чересчур свободными себя не чувствовали. Потом сажать стали всех без разбору. Под гребенку. Но пришло время и они стали сажать друг друга. Иначе и быть не могло. Есть такое выражение: революция пожирает своих детей. А Сломский сидит потому, что унаследовал от своих верующих родителей совесть. Совесть — она ведь тоже от Бога. Поэтому сам он не может стучать, не сподобился. А то бы упредил стукача, стукнул на другого — глядишь, и на свободе бы был. Некоторое время.

— Что жрут люди друг друга, дак это правда, — в раздумье согласился Яков. — Выходит, идет все от того, что Бога не признали? Ну, а как же ты будешь по-доброму, Андрей: если тебя так вот мордой в дерьмо, а ты к нему с добром? Как же можно с кровопивцем по-доброму? Разве ж он, кровопивец этот, твое добро поймет?

— Я понимаю тебя, Яков. Я вижу как это гнетет твою душу. Ты говорил, что живешь той минутой, когда сможешь отомстить. Не обижайся, но так нельзя. Душа твоя так может зачерстветь — никаким добрым деянием ее не отогреешь потом.

— Дак че, простить его, ли че ли? — в голосе Якова нотки раздражения.

— Для начала надо выяснить, жив ли твой Козлов. На пересылке слух был, что они сами себя так тогда прошерстили, что никакой больше чистки рядов не потребуется. В лучшем случае, он находится, как и ты, на нарах. Но скорее всего давно его в распыл пустили; он же, как я понял из твоего рассказа, из «старой гвардии». А со своими они не церемонятся: не резон оставлять сегодня в живых того, кто завтра может отправить на тот свет тебя самого.

— Жалко мне это будет, — Яков с такой яростью ударил рукавицами, что отзвук сухим выстрелом отскочил от стен барака. Адам только головой покачал.

— Смири душу, Яша, легче жить будет. Тебя же жена с дитем ждет.

— Не могу, Андрей. Может и рад бы, да не могу.

— Ты Бога проси дать облегчение. Он даст.

— Может и даст. Только боюсь я этого облегчения.

А ну, как не станет во мне тогда силы за Фридриха отомстить. Глядя на тебя, чую, что не даст Бог мне с извергом посчитаться. Я ведь жалостливый. Не-е, я повременю с Богом. Опосля, Адамушка, опосля.

— Это твое «опосля» может опоздать, Яша. Нужно идти к Нему, пока Он близко.

— Так ты же сам говорил, что Бог нас долготерпит и ждет. Это что же: Он если всех терпит, то только одного меня и не дождет?

— Дождет, Яков, дождет. Но разве не хочется твоей душе покоя? Прямо сейчас, а не опосля? Чтобы мир в ней был, а не злоба, а?

— Эта злоба мне большая поддержка, чтобы освобождения дожждаться, — тихо признался Яков, подняв голову к зимнему небу. — Без нее я ослабну.

Косые, мятущиеся тени от фонаря скользнули по его лицу, на котором отражалось глубокое душевное страдание. Адам с сожалением посмотрел на друга: мало было толку переубеждать его сейчас. Но и то, что Господь работал в нем — было очевидно. И Адам смолк в молитве, также устремившись в небо.

«Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми».

— Что? — словно из небытия очнулся Яков. — Что ты сказал, Андрей?

— Ничего. Тебе послышалось.

Яков осмотрелся по сторонам.

— Больно голос четкий послышался. Только издаля откуда-то.

— Бывает, Яша. — улыбнулся Адам. — Это бывает.

Глава 6

Кожин

А между тем тучи сгущались над Адамом. Его имя вдруг всплыло в донесениях сексотов начальству. Случилось это после очередной стычки политических с урками. Особо указывалось на его частые беседы со Сломским, и это не на шутку встревожило начальство лагеря. Но тут же к их вящему удивлению выяснилось, что он сидит за веру. Но тогда, что он делает среди отъявленных атеистов? Что за интересы могли их объединять? И начальник лагеря Кожин решил побеседовать с ним лично, причем при опере, в компетенции которого и должны быть такие дела. Но у начальника лагеря была слабость: он сам любил устраивать показательные беседы о Боге с верующими. Стоило только ему прознать, что тот-то или тот-то крестится ли, молитвы ли шепчет, тут же вызовет мужика: дескать, что, в Бога веруешь? Есть Бог, по-твоему? А почему тогда..? И ну сыпать стихами из Библии (во всяком случае говорил, что из Библии) да сам же и опровергать их по-научному. Вот, мол, как дурит вас, лапотошников, ваша вера.

И стоит сыромятный тот мужичонка, и глазами хлопает: он о Библии только краем уха слышал, и ни сном, ни духом не ведал, что такие мудреные стихи в ней прописаны. А кто и допустит когда несмелое возражение, разнесет его начальник в пух и прах, и отпустит перепуганного в сильном смятении духа. Сам же наполнится духом собственной значимости, да и подчиненные восхищенно головами качают: ох, и дока же наш начальник! Все на место поставил! Человек потому и звучит гордо, что он всему голова. Да, как ни мудрят люди с Библией, а наука не оставляет камня на камне от ее учения. И как, мол, хорошо, что у нас есть такие проводники идей коммунизма, сражающиеся с «опиумом для народа». Кожин знал о таких рассуждениях и вовсю старался поддерживать этот имидж. Ради этого и устраивал показательные беседы. Показательные в том смысле, что приглашал на них своих собственных подчиненных. Но прокололся на вот этом вот невзрачном человечике, Адаме Штресслере. До того невзрачном, что когда тот переступил порог его кабинета, робко теребя в руках замшелую, как и сам, шапку, Кожин сморщился и даже не позвал, как замыслил сначала, на беседу ни зама по культурно-воспитательной части, ни самого опера. Для которых, по большей части, и устроил мероприятие. И как потом выяснилось, очень вовремя для себя не позвал. А ведь казалось, ну с кем тут разговоры говорить? На такого цыкнуть построже — вот и вся вера. Была и — нету. Так и хотел было сделать по возникшему желанию, но когда этот шплинт затертый отрапортовал и

назвал статью, по которой осужден, он с любопытством и удивлением вскинул на него глаза.

— Где добавили, за что?

Заключенный ответил. Дело, в общем, обычное: пересмотрели и добавили, когда срок подходил к концу. Но интонации, с какими этот мужичок перечислил пункты статьи, поразили Кожина. В них не было и намек на затаенную обиду или безысходную отрешенность, которые всегда угадывались в голосе у любого зэка, как бы он ни пытался скрыть это. Получить довеском червонец перед самым выходом на волю — да это сломит любого и каждого! Но этот тип, похоже, был не очень-то опечален таким поворотом судьбы. «Надо посмотреть его дело», — подумал майор и спросил.

— Ну, а первый трояк, конкретно, за что? Только честно. Я ведь проверю.

— А зачем врать, — согласился зэк. — Первый я схлопотал за любовь к технике.

— Иди ты! — не поверил чекист. — И что это за техника?

— Так разная. Больше всего в электрических моторах любил копать.

Начальник так и подобрался весь.

— Да уж не электрик ли ты?

— И электрик тоже, — кивнул головой Адам. — И меха... — и прервался, смолкнув на полуслове в удивлении, потому что словно от какой-то неожиданности привстал и выпучился на него начальник, аж руками за стол схва-

тился. Потом обмяк и улыбнулся непонятно для Адама. Откуда тому было знать, что заулыбался он от того, что поймал самого себя на крамольной формулировке мысли: «Так тебя ж мне сам Бог послал!» — И следом: «Господи, прости, что Бога вспоминаю!» — И совсем развеселился нелепому каламбуру.

Случаются такие метаморфозы, случаются. Трудно, ох, как трудно человеку изжить этот вот предрассудок нехороший: чуть что, Бога вспоминать. И дает себе зарок майор: «Все! Надо с этими беседами о Боге заканчивать. А то не заметишь, как тако-ое вслух вылетит, что прямехонько пополнишь ряды вот таких вот, как этот челдон. А все-таки... как же он кстати!»

Ну, как же не кстати, если вон вчера на лесопилке простой случился, не сегодня — завтра вообще все производство может встать. Электрика-то в центр увезли в безнадежном состоянии. А он возьми да и окочурься по дороге. Без всякого спросу. Где другого взять в этой глуши? Еще как кстати!

— Электрик, значит? — переспросил он для верности.

— И механик, и слесарь. Я на Украине в колхозном товариществе председателем был.

— За что и сел, как я понимаю? — с иронией догадался Кожин.

— Угу. Не досмотрел я. Клуня с зерном загорелась от искры. А тот агрегат для обмолота я сам собирал.

— Мало, значит, дали сперва. Вредитель ты.

— Так вот, исправили ошибку.

— Ну, не огорчайся. Сейчас за это сразу бы расстреляли. А так, видишь, все еще живой. Два раза, считай, уже пожалели тебя.

— Так я и не огорчаюсь. Я радуюсь.

Начальник пристально взгляделся в заключенного. Нет, не дурак. И не то, чтобы над собой издевался. Все так же виновато теребит свою обтрепанную шапку. Но смотрит на начальника прямо и без обычного подбострастия. И даже как-то отвлеченно.

— Ну, а знаешь, зачем вызвали?

— Так может провинился в чем. Вот и донесли.

— А что на тебя можно донести? — прищурился Кожин.

— Да мало ли. Может, норму не выполнил... Не знаю.

— Знаешь, — чуть жестче сказал майор. — Не притворяйся. К чему ты склонял Сломского с его компанией?

На лице заключенного отразилось искреннее недоумение. Да Кожин и сам уже давно догадался, что номер этот пустой. Бывший офицер Сломский — человек отчаянной храбрости, грамотей, какого не сыщешь. Да и друзья его не лыком шиты: к чему мог склонить их этот прыщик. Они сами кого хошь перелицуют. Некоторых из них он знал лично и сильно жалел, что оказались они по другую сторону баррикад в борьбе за светлое будущее.

— Я, гражданин начальник, никого никуда не склонял. Были у нас разговоры, не скрою, но то были споры о душе человеческой. О Боге.

— Вот видишь, о Боге, — уцепился Кожин. — Вот не хотелось тебя сразу наказывать, но и потворствовать вредному влиянию твоих сказок про Бога, не могу. В то время как... — Кожин кратко, но красочно обрисовал Адаму передовую роль партии в построении коммунизма и как некоторые несознательные личности тормозят его поступательное движение вперед. Под конец неожиданно предложил: — Ладно. Жаль мне тебя наказывать. Давай договоримся так: хочешь верить в своего Бога — верь, но других не смущай. Не соблазняй, значит.

— Так я никого и не соблазняю, — удивился Адам. — Вот Вы, гражданин начальник, сейчас так хорошо рассказывали о своей партии, это же не значит что Вы меня силком в нее тащите?

— Конечно, нет. В партию идут исключительно по зову сердца!

— Вот! И к Богу тоже, — вроде как обрадовался Адам. — По-другому не бывает, хоть запросись.

— Ну, ты и сравнил, — снисходительно улыбнулся Кожин. Он уже оседлал своего любимого конька, несмотря на недавние колебания. — Партию люди знают, видят ее дела и стремятся к ней. А Бога кто знает? Ты да еще пара таких же оболваненных. Да и знает ли — еще вопрос. Ну-ка, что дала тебе твоя вера в Него? Сформулируй коротенько.

— Коротенько? Свободу.

— Чиво-о?! — неприятно изумился Кожин, потом

от души расхохотался. — Свободу? Три года сразу и десять прицепом — это свобода? Вот свобода так свобода! — обратился он к несуществующим собеседникам. Сильно пожалел майор, что никто больше не слышит такого откровения. — И скольких же Он так освободил, интересно знать?

— Он всех освобождает, кто к Нему приходит, гражданин начальник.

— Да? — на лице майора мелькнула лукавая улыбка, он заговорщически понизил голос. — А если я тебя завтра освобожу, ну это... под чистую пойдешь домой — я что, тоже стану Богом? А?

— Не освободите, — покачал головой Адам.

— Пошто нет? Откуда тебе знать? Я, брат, много могу.

— Может быть и можете. Но я о другом хотел сказать: так как Он, не освободите. Даже если бы и захотели, не сможете.

— Это почему же?

— Потому что сами несвободны.

— Еще чище! — совсем развеселился майор. — Нет, мне это определенно нравится. Так может, это я нахожусь в зоне в осуждении, и это меня охраняют, а не тебя?

— Мы все находимся в одной зоне, гражданин начальник.

— Иди ты! Это в какой же? — Нет, явно проиграл Кожин, что не позвал хотя бы опера. Это же целое представление!

— В зоне греха. Зона-то у нас одна — земля наша. И мы все — грешники на этой земле. И Вы, и я.

— Не согласен, — покровительственно, как малому ребенку, сказал Кожин. Он повторял это уже бессчетно раз, а потому и без запинки. — Разве может один грешник другого охранять? В Библии же говорится, что не может сатана сатану ни гнать, ни охранять. А раз так, значит я — праведник. Что — нет?

— Нет. Библия наоборот говорит нам, что «нет праведного ни одного... Потому что все согрешили и лишены славы Божией.»

— У-у-у. Да ты, брат, ушлый, как я посмотрю. Ну, а как тогда насчет того, что написано: «... когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности имение его?» Как ты это понимаешь? — И, не дожидаясь ответа. — А понимать надо так, что, стало быть, для безопасности нашей страны праведники и охраняют ее, свой дом, то бишь, от вас, грешников. Чтобы вы тут воду не мутили, понял? Чего это ты так разлыбился?

— Ну, Вы это так хорошо сказали. Только не до конца.

— А ты можешь до конца? Ну, скажи, скажи.

— Дальше написано: «Когда же сильнейший его нападёт на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и...»

— Стоп, стоп, стоп! Ты что же, друг милый, и вправду веришь, что кто-то может быть сильнейшим? Сильнее партии?

— Вы прочитали из Библии, я продолжил. Про партию там нету.

— Нет, ты не вилай, ты ответь на вопрос. Не бойся, даю слово офицера, я ничего тебе не сделаю. Что, кто-то может быть сильнее партии?

— Не только партии, а и всего, что в мире. Раз Бог создал этот мир, Он и может им распоряжаться по Своему разумению. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле», — это Христос сказал, прежде чем вознестся.

— Да-а, вижу не зря тебе умные люди червонец накиннули. Тебе тут только место и есть. Ну, а почитать свою Библию дашь? Только не говори, что у тебя ее нет.

— У меня ее нет.

— Ну, вот, я с тобой по-честному, а ты все обманом норовишь. Я же только посмотрю что мне надо и верну.

— У меня ее нет.

— Ага, так я и поверил. Что ж ты, наизусть Библию помнишь?

— Грех хвалиться, гражданин начальник, но... Нет, Вы обидитесь.

— Ну-ну, смелее!

— Посидите с мое — тоже выучите.

— Ну, ты и наха-ал, — в очередном изумлении присвистнул Кожин. — Никогда бы не подумал. Но все же ты сам себя и выдал. Ведь с чего-то ты ее выучил, а? Даже так догадываюсь, что переписать умудрился откуда-то. Откуда?

— Думайте, что хотите, а только нет у меня ничего.

— М-да-а. Не получается у нас с тобой доверия, не получается. А жаль. Жаль. Че молчишь?

— Да непонятно мне: Вам-то чего жалеть?

— А ты думаешь не прискорбно так вот смотреть, что неглупый вроде человек — он хотел добавить: «к тому же электрик», но раздумал, — забивает себе голову несусветной чушью? Ну, ладно, совершенно безграмотные, темные люди — тем от рождения нужно что-нибудь сверхъестественное. Еще кому? Попам, монахам и всяким прочим. Им это нужно, чтобы еще больше заморочить тем лопухам голову и жить за их счет. Но зачем это нужно таким, как ты? Что ты-то с этого имеешь? Сколько ни бьюсь, не могу понять, как может человек в здравом уме с упорством, достойным лучшего применения, верить в того, кого нет: кого сам не слышит и не видит.

Слушай, а может быть, ты видел Бога? Тогда покажи мне Его, а?

— Это никому не под силу, потому что Бог есть дух, — вздохнул Адам. — Написано: «Бога не видел никто никогда; едиnorodный Сын, сущий в недре отчем, Он явил.» — И потом, как бы о чем догадавшись. — Вот Вы только что говорили, что люди видят дела вашей партии. Говорили?

— Так оно и есть.

— Так и Божьи дела кругом видны. Каждый видит, кто хочет. А саму партию Вы можете мне показать?

— А то как же, — продолжал улыбаться начальник. — Партия — это весь народ наш... кроме вас, отщепенцев.

— И уголовники?

— А что — уголовники? Я же сказал: кроме вас, отщепенцев. Большой разницы между вами и ими не вижу. А партия — это вот... вот... — взмахнул он рукой и неожиданно смешался: не проявлялось изображение партии в воздухе. Не было под рукой чего-нибудь величественного: один плакат на стене, да и тот до того замызганный, не разберешь толком, что там намалевано. Одно только и читалось с пропусками: «Партия наш (залито маслом) вой». Тьфу ты, никогда не обращал внимания. Абракадабра какая-то. Получается: «Партия наш вой». Обновить бы надо, да все руки не доходят. — Партия это... это планов громадьё, как сказал поэт. Это великая стройка по всей стране. Подойди к окну, — приказал майор торжественно. — Что видишь?

— Конвоиров. Эка под мышки в бур волокут. В кровь избитый.

— На что тебе сдался этот ээк? — поморщился как от зубной боли майор. — В том и беда ваша, что дальше носа не видите. Это же мелочи, издержки жизненного процесса. Так со всеми будет, кто против партии, как же иначе победить врагов? А ты вдаль смотри, в будущее, которое мы строим. Весь этот лес, который мы здесь заготовливаем, идет на построение будущего. Построим коммунизм, и тогда все люди будут равны и свободны.

— Дай-то Бог.

— Причем здесь твой Бог?

— Да это я так, размышляю, гражданин начальник. Раз, думаю, Бог хочет всех людей сделать свободными и равными, и Вы к этому тоже вроде как стремитесь, так получается, что цель одна, а пути ее достижения — разные. Бог — любовью, а вы — наказанием. А если человека перед выбором поставить, что какой, мол, путь тебе к душе больше? Интересно — какой он выберет?

— Интересно, говоришь? Что ж тут интересного? Разве не знаешь, какой он уже выбрал? То-то. Люди этот путь и выбрали. Потому и победили, что он — верный.

— Кто-то, конечно, выбрал. Кто-то примкнул, кого-то силком заставили. Но верный или нет — это Богу, не мне судить. Поживем-увидим.

— Поживешь? Увидишь? — саркастически усмехнулся Кожин. — Да долго ли ты протянешь в такой-то жизни, лапоть? Вот тебе мой сказ: мужик ты неглупый — осмотришь хорошенько и с властью примиришь. И будешь в собственном доме есть хлеб с маслом, а не баланду на нарах хлебать. Ладно, ладно, философ. На сегодня разговор закончен. Думаю, что полезный для тебя. Теперь вот что скажи: в дизельных движках что-нибудь смыслишь?

— Определенно. Я ж говорил.

— А на лесопилке если что вдруг не так, скумекаешь? Вижу, что скумекаешь. Руки, вон, потираешь.

— Так это ж у меня сызмальства к технике. Неравнодушен я к ней с детства.

— Вот и пойдешь сейчас с Якимчиком туда, раз неравнодушный. Конвоира я тебе личного приставлю, цени! И посмотришь. Нелады какие-то там. Наладишь: поставлю над всем электрохозяйством. А там и новые движки обещали подвезти. И еще раз: веришь в Бога, веруй, но без пропаганды чтобы. Или хотя бы делай так, чтобы на тебя не доносили.

— Если ничего не делать, донесут и об этом, гражданин начальник.

— Ну, и пусть донесут. Мне важно — о чем. Вот ты и позаботься, чтобы не о том самом, понял? — В кабинет вошел конвоир. — Забирай его, Якимчик, на лесопилку.

С того самого дня перестал Адам ходить на лесоповал. Работы на новом месте ему было: хоть отбавляй. Его перевели в тот самый барак с десятниками, где было отгороженное помещение, своего рода каптерка, с настоящей дверью и замком, где он и спал, и держал всевозможные провода, винтики-ролики и прочую электрическую атрибутику. Мало-помалу привел в порядок все электрохозяйство, наладил работу лесопилки, а случающиеся перебои устранял быстро: без суеты и шума. Начальство на такого работягу только радовалось. Время шло, и Кожин перестал видеть в нем и идейного врага. Ну, какой он, и в самом-то деле враг, когда наоборот получается: не бузит, ничем не возмущается, никого и никуда, кроме как к смирению не призывает — что

может быть лучше? Где-то через пару месяцев он даже добился для Адама права свободного передвижения не только в зоне, но и за ее пределами, где уже вырос поселок средних размеров с соответствующей инфраструктурой: почта, сельмаг, здание администрации. Электрик был необходим и там.

И теперь, когда ему, как расконвойнику и единственному в лагере электрику, приходится ходить по всем объектам в зоне и вне ее, ни у одного вертухая не зародится даже подозрения, что может он куда-то сбежать или что-то противоправное совершить. Знает Адам свою ценность, но не пользуется обстоятельствами, не присматривает себе дешевых выгод. И этим, кажется, расположил к себе Кожина.

64 Но как-то не задумывался над тем, что и у начальника лагеря могут быть враги. Или завистники. И где: в собственном его окружении. А там — ого! — кипели страсти такого накала, что простой смертный, в данном случае зэк — только диву бы дался! И уж совсем не подозревал он, что в той игре против Кожина его собственная скромная фигура занимала довольно видное место. Он стал фигурой компромата в заговоре сослуживцев против начальника лагеря. А узнать об этом довелось аккурат в тот день, как выхлопотал ему Кожин разрешение на работу за зоной.

Глава 7

Опер

Тогда призвал его к себе кум — мрачный, зловещий тип по фамилии Бешенков, которого боялись все зэки без исключения. Слух о верующем электрике дошел и до него, и он также решил побеседовать с Адамом. Внести, так сказать, свою лепту в дело борьбы с религией.

Чекист долго в упор рассматривал зэка, видимо, сомневаясь в правдивости тех характеристик, которые давали этому проповеднику осведомители. А тот неловко, как бы стесняясь чего-то, переминался с ноги на ногу и, в выжидании, время от времени поднимал на него глаза. Поднимал и тут же отводил их: опер вызывал в нем отвращение, и Адам пытался побороть это чувство. Бешенков же истолковал это по-своему: «Гнида трусливая. Р-р-раздавлю!» — И решил долго не церемониться, а брать быка за рога.

— Ну что, божья коровка, молишься? — вкрадчиво начал он и тут же грозно приказал. — В глаза мне! Молишься?

— А как же, гражданин начальник, без молитвы? Конечно, молюсь. — Адам, согласно приказу, смотрел на него широко открытыми глазами, в которых страх вовсе и не угадывался. Но это уже для капитана ничего не значило. Он уже вошел в раж.

— Кому молишься? Где твои иконы?

— Я не иконе молюсь.

— А кому? — каждый вопрос опер сопровождал отборным матом.

— Живому Богу, Ии...

— Я здесь бог! — грохнул по столу кулаком «бог». — Мне теперь будете молиться, понял нет? Хочу — накажу, хочу — помилую! Понял — нет?

— Понял, гражданин начальник. Можно слово?

— Ну.

— Так нельзя говорить. Царя Ирода черви только за то изъели, что он позволил людям славить себя, как Бога.

В следующую секунду он оказался на полу, в углу от хлесткого удара чекиста. Бил Бешенков не по лицу, а прямо в сплетение. Тут же подошел и прижал грудь Адама сапогом.

— Я с тобой, гнида, в бирюльки не собираюсь играть. Мне твои басни слушать некогда. И рассусоливать насчет твоих учений-убеждений тоже некогда. Я тебе не начальник Кожин диспуты устраивать. Сказал: все будете мне молиться, значит — будете, понял — нет?

— А кто все-то? — держась за грудь, встал и огляделся Адам. В нем закипала злость, которую он не в силах был подавить. — Я здесь один. Или солдаты тоже? — кивнул он в сторону молодого конвоира, молчаливо стоящему у двери. — Ты, парень, не верь: врет он насчет Бога. — И снова улетел, теперь уже к двери, к ногам конвойного.

— Вы у меня подметки лизать будете, — прошипел опер, подтягивая его к себе левой рукой за грудки. — Все! Понял — нет?

— Говоришь — все, а бьешь одного, — чуть слышно прошелестел Адам. И снова взгляд на солдата. — Непорядок это, гражданин начальник.

Тот в бешенстве шарахнул его несколько раз теперь уже по лицу и сверху по шее, и бросил на пол. Потом снова склонился над эком. 67

— Черт, кажется перестарался. Ну-ка, Зыкин, принеси воды, да рожу ему прополощи.

После холодного душа Адам с трудом приподнялся, провел ладонью по разбитым губам, потом еще раз, словно желая убедиться в цвете крови. Потом поднял глаза на Бешенкова. Тот уже сидел за столом с весьма довольным, прямо-таки умиротворенным видом и расчесывал наверх свои длинные и прямые, от крутого шишковатого лба к затылку, русые волосы. И Адам понял: перед ним — самый обыкновенный, примитивный садист, какие не раз уже встречались на его пути. Особенно много их было почему-то на Беломорканале.

Для таких, как он, рукоприкладство есть не что иное, как наркотик: душевный покой наступает у него только после избияния жертвы. Вот теперь по всему было видно, что душу свою он усладил и обрел его, наконец. Покой, то бишь.

— Я тебя научу свободу любить, шваль, — уже не столь грозно, а наоборот, с превеликим удовлетворением произнес капитан, продолжая зачесывать волосы. — И запомни: так будет каждый день, пока не поймешь, кто здесь хозяин, понял — нет?

Печать чванливого превосходства настолько четко отображалась на его самодовольном, оттого и глуповатом лице, что Адам, неожиданно даже для себя, рассмеялся.

— Ты, что, падаль? — округлил глаза опер.

68 — Да я про свободу твою, гражданин начальник, — не отпуская ладони от губы, пробубнил Адам. — Думаешь, ты у меня первый учитель со своими уроками? Ошибаешься. Меня это дело уже около десятка лет пытаются заставить полюбить. И невдомек вам всем, что свобода — она только со Христом в душе — свобода. С Ним-то она и здесь, в лагере, — свобода, а без Него она и на воле — тюрьма. Не надсаждайся попусту, не получится из тебя учителя.

По мере того, как он говорил, все больше багровело лицо опера. Снова стиснул он кулаки и, наклонившись набок, привычно потянулся рукой к кобуре.

— Ты смотри... храбрый?! — медленно-презрительно расставлял он слова. — А вот мы щас твою храбрость и

проверим. Щас мы увидим с кем тебе здесь свобода, — он навел маузер на Адама и разразился целой тирадой нецензурной брани. — Пристрелю, как собаку!

— Стреляй, начальник, сделай милость. Я на тебя не в обиде буду: хуже мне от этого уже не станет — некуда хуже-то. Ну, что ж ты засокотил? Смелее! Это ведь не в бою, где и в тебя пальнуть могут. Стреляй. Только не стрельнешь ты. Не-а, не стрельнешь. К чему себе карьеру портить. Вот если бы в тайге — ты бы стрельнул. И на попытку к бегству списал. Еще и медаль, может, получил бы. А здесь, в кабинете, нет резона. Но стрельнешь ли, не стрельнешь, а одно запомни: наши ряды ты все одно вскоре пополнишь.

Медленно, очень медленно приподнимался из-за стола капитан. Сама мысль о том, что какой-то эк ⁶⁹ позволяет себе насмеяться над ним, никак не втискивалась в девственно порожние извилины его мозга. С грохотом отшвырнув стул, опер-бык с налитыми кровью глазами и отвисшей челюстью уже сделал шаг к дразнящему его тореадору, но при последних его словах мгновенно остановился: как бы ни был туп воитель, а сыграло чекистское чутье.

В это же время он расслышал, наконец (и как нельзя кстати!), многозначительное покашливание конвоира. Он метнул быстрый взгляд в его сторону: солдат что-то показывал глазами и едва заметно кивал на Адама. Капитан быстро подошел и вопросительно мотнул головой.

— Там в поселок какое-то начальство приезжает, — зашептал конвоир.

— Знаю. И что?

— Велено было доставить его туда, — кивнул он на Адама. — Что-то по электричеству. Спешно.

— В поселок?! — аж скрипнул зубами опер. — Это как же?

Солдат пожал плечами.

— У него же разрешение с сегодняшнего дня.

— Ах, да. Ладно. Выйди пока. Через пять минут заберешь. Черт-те что: таких вообще за зону нельзя выпускать. — Неожиданная смена обстановки укротила бычье бешенство и его место тут же заняла беспокойная растерянность. Он обошел вокруг Адама и снова устроился за столом.

— Ну-ка, поясни, попик, что ты имеешь в виду. Какие такие ряды я должен пополнить? И почему?

— Поясню, гражданин начальник. Хотя вряд ли ты поймешь.

— Да уж постараюсь как-нибудь, — буравит эка глазами опер. Ох, как трудно нормально разговаривать с человеками. Треснуть бы прыща этого так, чтобы развалился насовсем, и вся недолга. Но сначала надо выяснить откуда угроза идет. Не зря же он заикнулся. Что-то знает, богомольник. — Ну, договаривай, коли начал. Почему?

— Потому что сказано: «Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь.»

Вот ты осужден и будешь, потому что Бога хулишь.

— Чушь какая-то. Кто это тебе сказал?

— Иеремия.

— Кто такой? С третьего барака?

— Ни с какого он не барака. Он — пророк.

— Ну, ну, ладно, не хочешь говорить — не говори.

И кто ж он тогда такой, твой Ерема?

— Я же говорю — пророк. Библейский. Он жил много веков тому назад в Израиле.

— Что ты мне тут темнишь? — как ни старался, а не сдержался опер и опять грохнул по столу. — За дурака принимаешь? Откуда этому... твоему библейскому... ну, как там его: откуда бы тогда этому... болвану обо мне знать? Что ты мелешь?

— Это не я. Об этом Библия говорит.

— Ну, вот что, друг ситцевый: знаю я твою Библию — сказки одни. Для детей неполноценных, — опер заржал собственной оригинальной шутке. — Давай лучше так решим: скажешь, кто тебе обо мне такие речи ведет — не пожалеешь. Под моим крылом будешь жить. Защищу от любого. — И понизил голос. — Даже от Кожина. Ну, решай! Не бойся!

— Да я уж все давным-давно для себя решил, гражданин начальник.

— Ну-ну, заикнулся, так рожай, — поторапливал его капитан.

— «Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя», — отняв руку от губы, произнес Адам.

— Че, опять твой Ерема говорит?

— Господь так говорит. Потому я и живу под крылом не человека, но Бога. Разве ж могу я променять Его защиту на вашу. Какая защита, если вы друг друга и то боитесь. Злобствуете друг на дружку. А когда выхода злобе этой нет, на эках ее вымещаете, потому что знаете — сдачи не будет и...

— Пшел вон! — взбесился капитан. — Постой! Эй, кто там. Забирай его ко всем чертям. До завтра. Уж завтра разговор продолжим... так продолжим, что на всю жизнь, которая тебе осталась, запомнишь, гад! — зловеще пообещал он.

Не так уж и мало начальников сменилось на памяти Адама, но такого тупого и злобного, как капитан, даже он не мог припомнить. И потому, наверное, не удержался от напоминания, обернулся у порога.

— Запомни и ты, гражданин начальник, мой добрый совет: не хули Господа. «Бог поругаем не бывает. Что посетит человек, то и пожнет».

Только отмахнулся досадливо опер. Проваливай, мол, пока я не передумал.

Но так оно и случилось позднее: «Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их». Постигло оно и Бешенкова. И в общем-то, немудрено. Ведь и по лагерям сплошь да рядом «стучали» люди друг на друга: начальник доносил на подчиненного, подчиненный — на начальника. И не успевший донести первым, лишался должности, а то и пополнял ряды заключенных: «... все

они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво... Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма... не пощадит человек брата своего. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышц своей» (Ис. 9:17–20)

А пока ни на завтра, ни на потом не потревожил опер Адама. Не то Кожин заступился, не то другие дела помешали капитану исполнить угрозы. Было поначалу у Адама побуждение пересказать начальнику лагеря весь разговор с опером, но поразмыслив и помолившись Богу, отказался от этой идеи. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.»

Глава 8

Сомнения

Прослышав, что Адам был у опера, Яков вечером того же дня нашел время после ужина забежать к другу в каптерку. Адам сидел на топчане собственной конструкции, обхватив голову руками.

— Ты чего такой хворый, Адам? — обеспокоился

74 он. — Заболел?

— Да нет, Яша, хуже.

— Ну, хуже, это если несильно захворал; тогда — да, хуже не бывает. А если в лазарет положут, так и неплохо, — рассудил Яков. — А че болит-то? — И только тут заметил его распухшие губы и крикнул от досады. — Бешеный?

Адам кивнул, потрогал губы и махнул рукой: не стоит, дескать, вспоминать.

— Расскажи, Адам.

— Дело не в нем, Яков. Дело во мне. Сдавать я начал. Слабею я.

— Расскажи, Андрюша, — назвал его Яков так, как называли почти все в отряде. — Отчего слабже-то стал, от работы?

Адам отрицательно покачал головой.

— Нет. Духовно я ослаб, Яша. На себя много стал надеяться, не на Бога. Возгордился я.

— Я так не пойму, — вздохнул Яков. — Не дойдет до меня: чем ты можешь тут загордиться? Ты бы пере-сказал все как есть, тогда пойму.

Адам коротко рассказал ему о случившемся в кабинете опера. А когда закончил, Яков сдержанно похлопал его по плечу. Это было выражением его полного восхищения.

— Ну, вот. А говоришь — ослаб. Не-е, Адам, правильно ты загордился. Эх, если б я умел так говорить как ты, я бы тоже сказал. Я бы так сказал! — мечтательно погрозил он. И вздохнул с сожалением. — Да ежели б все так себя держали, они бы много не лютовали.

— Нет, Яков, плетью обуха не перешибешь. Это ⁷⁵ только себе вред. На Бога надо надеяться, а я себя превознес. Если бы о смирении не забыл, может и не взбесился бы так капитан. Молиться за него надо было, Яша, а не раздражать его.

Вскочил на ноги Яков, в сильном волнении туда-сюда по каптерке заметался — мало места для гнева праведного! И зачастил, обращаясь к свидетелям невидимым, да так, будто плотину молчания прорвало.

— Да ты что, Адам, совсем с ума спятил? Вот это да! Нет, вы только погляньте, люди добрые, — ему молиться за этого ирода надо было?! Да ему башку свернуть — мало. Нет, ведь это надо же! — Давно Яков за один раз столько слов не произносил. Вдруг о чем-то догадался, остановился

и спросил участливо. — А может тебе и правда в лазарет попроситься? Мало ли что. Может от переутомления у тебя это, — он выразительно покрутил у головы пальцами.

— Ну, ты даешь, — укоризненно посмотрел на него Адам. — Неужели ты думаешь, что в нашем лазарете стали бы меня лечить, если бы я был... того, — он повторил его жест пальцами. — Ну-ка, поразмысли.

Яков с минуту размышлял, потом понуро присел рядом с ним. Запал красноречия иссяк, да и явно утомил его.

— Да нет, однако.

— То-то и оно. Тем более, что я в полном здравии. Но не в полной силе духа, Яша, вот в чем беда. Потому и молюсь Богу, чтобы простил мне мое самодовольство и укрепил меня по слову Своему. Помолись и ты, Яша, если Он тебя побудит к этому.

При последних словах Яков тут же засобирался, пригладил рукой короткие волосы и шапку нахлобучил.

— Молиться я не сподобился, Адам. Что до опера, то вот моя молитва для него, — он потряс кулаком. — Он мне заместо того, Козлова, будет. Если почую, что дальше не выдержу — сверну башку «куму» или кто из его шайки под руку попадет. А там уже пусть расстреливают. Ты правильно ему сказал, что хуже-то нам уже не будет. — И упредил возражения. — Только не уговаривай меня, я оттого и на тебя озлиться могу. Да, чуть не забыл. Я же предупредить тебя пришел. Прослышал, будто урки что-то против тебя затевают.

Не ходил бы ты к ним больше, а? На кой ляд они тебе сдались, нехристи?

— Нехристи? — Адам широко улыбнулся. — Ты сказал, нехристи?

— Ну, — озаботился Яков. — И что? Нехристи и есть. Жулики, воры. Нечисть, ну. Тот же Левка.

— Так нечисть он или нехристь, Яша?

— Дак это ж одинако, — удивленно поднял тот брови. — Или нет?

— Ну, нехристь — это как я понимаю, человек не признающий Христа. Смотри: не Хри-с-тов — не-хри-сть. Понял, да?

Адам проследил за сменившимся от озабоченности до недоумения выражением лица Якова. И все это в итоге закончилось замешательством и виноватой улыбкой. Яков понял.

— Надо же! Значит и я, што ли... — Он закашлялся. Язык его не повернулся сказать на себя «нехристь». — Я думал только бусурманины, да жулики — нехристи.

— Как видишь, не только они. Но Христос-то и приходил на нашу землю, чтобы привести нас всех к Богу: ну, чтобы стали мы Хрис-то-вы. Понимаешь, да? Всех привести: воров и басурман, чистых и нечистых. Так что чистым становится человек, если впустит в свое сердце Христа. Потому что все мы очищаемся Его святой, пролитой на кресте кровью.

— Вот это мне и непонятно, что все. Один, значит, живет и страдает от жулья, другой — да тот же вор! —

жирует за его счет, живет, как кум королю, а очищаются все. Правильно это?

— Скажи, Яша, если бы ты, скажем, увидел, что столь нелюбимый тобой вор Левка вдруг пришел бы к больным, безответным ээкам, да? И стал бы ухаживать за ними, и даже отдавать им свой хлеб; ты бы простил ему то, его прежде? Ну, за что ты хочешь его «зашибить на месте»?

— С Левкой такого не будет.

— Ну, а если? Представь на минутку.

— Конечно, простил бы.

— А обрадовался бы?

— Кто ж не обрадуется такому. Ясно, что радовался бы.

— Ну, вот, ты сам и ответил на свой вопрос. Разве

78 тебе плохо будет, если очистится негодник? Ведь кого Христос примет, тот уже никогда не станет делать пакости другому. В душе он станет новым человеком. Кому от этого лучше? Всем.

— Такого никогда не будет. И не надейся. Но дай-то Бог, чтобы было.

— Он даст, Яша. Он дает все, что у Него просят. Помнишь, я рассказывал, что Христос сказал в Своей нагорной проповеди: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам».

— Отворят вам, — как эхом откликнулся Яков. — Это я помню. Где хорошо говорено, я все помню. Но ты все равно поостерегись уголовников. Чуда на этих людей не бывает. Не-а, не бывает, — утвердил он уже в дверях.

Глава 9

Перемены

Сломский исчез из лагеря совершенно незаметно. Но по прошествии пяти-шести дней заволновались эки, в основном, «мужики»: дело-то подходило к закрытию нарядов, а десятник на делянах не появлялся. Вместе с ним исчезли и все его дружки. И хоть и объяснило начальство, что-де перевели их в другой лагерь, все поняли: упекли Аркадия. Достал, видать, правдолюбец своей независимостью кого-то на большо-ом верху, раз сам Кожин, начальник лагеря, не отстоял его. Вот ведь, вроде и фигура незначительная — обыкновенный ээк-десятник! — а чувство такое, будто ушел от них облеченный властью их защитник. И тут же прошел слух, что Сломский отправлен в штрафлагерь. От слуха того мороз по коже: редко кто выживает в том аду. Ну, а если уж такого нужного администрации человека туда законопатили, значит грядут перемены. И затаились эки в их ожидании: со страхом — «мужики», в злорадном предвкушении — урки. Кому пофартит? Стало ясно, когда представили нового десятника: Ефим Лю-

тов известен был в лагерях, как «Лютый», «Борзый», «Гнилой», и давно снискал себе славу зверюги и ловкого подлеца. Исникли «мужики». Зато урки почувствовали свободу, и очень скоро в зону вернулся их беспредел. Никто уже не мог просто так выгнать урку на работу. А всем «мужикам», «фрайерам» и прочим зэкам пришлось тянуть лямку, обрабатывая всех этих нахлебников...

Продолжалось это довольно долго, и хотя недовольство зэков нарастало, но дальше еле слышного ропота дело не заходило. Пока урки в своей безнаказанности совсем не потеряли чувства меры. Тогда-то, в следующую зиму, и случилась с Адамом и Яковом ситуация, как бы напророченная Сломским в самое первое их знакомство.

В то утро появился в каптерке у Адама необычный гость: чернявый, быстроглазый урка, с парой золотых верхних зубов в уголках рта, Левка Чума. Тот самый, о котором Яков спорил с Адамом. Совсем еще пацан, чуть может за двадцать, был он шестеркой Стася, негласного «пахана» лагеря, рецидивиста по кличке «Космодей».

— Стась желает тебя видеть сегодня на деляне, чтобы ты нам о Боге рассказал, — как можно пренебрежитель-



нее, что голова, что руки — ходуном, прошепелявил он. — Как пойдешь на лесопилку, так

и заходи. Там — рядышком. Только так: обязательно книжку свою о Боге прихвати, понял? — И потом, оглянувшись, не подслушивает ли кто, уже не высокомерно, а просительно, с надеждой и без ходора: — Придешь?

Тут Левка полностью перепутал два непреложных наказа своего шефа: принести с собой книжку про Бога надо было не приказывать, а попросить так, как бы между прочим. А вот чтобы вообще придти, так это вроде как приказ и надо было по его сообщению тут же, не дожидаясь ответа, повернуться и выйти. Потому что, ну какой же идиот осмелится ослушаться Космодея. Он тебе, брат, иной раз покруче кума будет. Башку свернуть может. Но как повернешься и уйдешь, если только недавно чуть не вышиб ему зубы Стась: то и обидно, что кто-то, значит, чего-то не исполнил, а Чума виноват

за неисполнение. Потому-то и стоял он в ожидании, хоть и противно это, и унижительно для уркагана такого пошиба, каким он сам себя мнил и каким пытался выглядеть. И Адам понял его, улыбнулся ободряюще:

— Приду, Лева, приду, не бойся.

Отлегло от души у Левки, глаза сверкнули радостью: этот баптист держит слово, все знают! Но совсем форс терять тоже, конечно, негоже, и снова заходил ходором: «Кому это ты — «не бойся»? Я крым и рым прошел. Смотри, как бы... — и осекся под насмешливым взглядом Адама. И уже не так уверенно: — Смотри у меня...»

— Да смотрю я, Лева, смотрю. Иди уж, на развод опоздаешь.

И шмыгнул за дверь посыльный, а Адам призадумался. С одной стороны, лучшего случая и не придумаешь. После исчезновения Сломского и его друзей уголовники превознесли себя перед остальными зэками и обнаглели до крайности: отобрать пайку у «провинившегося» перед ними стало привычным делом. И разговаривать с кем бы то ни было из этого люда было бесполезно.

Однако подметил Адам, что не так уж они и страшны: случись заговорить, когда урка один, тот обычно под любым благовидным предлогом старается ретироваться: это как бы его защитная реакция — не быть втянутым в разговор. В случае же, когда их целая компания, то друг перед другом, кочевряжась, позволяли себе потешаться над Адамом. И не раз. Однажды и вовсе пригрозили пришить. А тут сами просят о беседе. Такую возможность поговорить с «самим» Космодеем нельзя было упустить. Но, с другой стороны, настораживало это обязательное условие: откуда им про книжку известно? Это, в общем-то, не книжка, а его собственный рукописный вариант Евангелия от Иоанна, который он берег, как зеницу ока, и оказывал далеко не всем. Догадывались — да, многие, в том числе и надзиратели. И одно время даже как бы охоту на него устроили, но ни на одном «шмоне» не могли ее у него найти.

Все дело в том, что ее у него, как правило, и не было. Как, например, не было и сейчас. Потому что находилась у одного из его верных людей. А то, что такие люди были, он, по понятным причинам, не афишировал.

Научился конспирации Адам за семь лет отсидки, ох, как научился.

Теперь, когда речь зашла о Библии, вспомнил Адам предупреждение Якова. Вспомнил и беседу с Кожиным, и тот разговор «по душам» с капитаном Бешенковым, и склонился к мысли, что именно последний из них двоих и хочет, чтобы урки спровоцировали его на предмет обнаружения Библии. Ходят слухи в зоне, что недаром Космодей так нагло ведет себя даже с надзирателями. Что, мол, есть у него покровители во власти и кое-что вытворляет он с их ведома, если не с прямого указа. Но все же это слухи, а кто знает правду? Люди эти хоть иногда и ходили в лес, но никогда не работали, а убивали время байками у костра. А то и резались там в карты при полном попустительстве бригадиров и десятников, которые хоть и были далеко не уголовниками, но эка-ми в настоящем, а не прошедшем времени, они были. И это накладывало свой отпечаток на их отношение к воровской верхушке. То есть, они их попросту боялись. Конвою же, «подогреваемому» элитой уголовников, вообще это нравилось: меньше заботы. Собственно, они помогали этому самому конвою. Ведь они в страхе держали «мужиков», заставляя их работать изо всех сил, чтобы выполнять теперь уже завышенную норму. В общем, встреча предстояла нешуточная. Оставалось только не передумать. И Адам встал на колени и попросил у Господа благословения на встречу в лесу с элитой уголовников.



Глава 10

Свара

С той поры, как Адам стал электриком лагеря, все реже удавалось Якову встречаться с ним. И все тоскливее, и тревожнее у него становилось на душе. Один день был похож на другой, как две капли воды, но с каждым новым усиливалось ожидание чего-то из ряда вон.

И вот в один из таких морозных январских дней прибежал к нему на деляну запыхавшийся напарник Вася. Он бегал к костру разжиться чаем, но что-то, видать, не вышла затея.

— Геракла, — закричал он еще издали. — Беги, спасай! Там на вырубках Космодей с шоблой твоего Паташонка судят. Щас на костре поджаривать будут. Жертву, говорят, принесут...

Ни слова не переспросил Яков, вскочил и размашисто зашагал к костру. Потянулись за ним и другие зэки, но у края деляны остановились, опасливо поглядывая на столпившуюся недалеко от костра шоблу. Они стояли полукругом и «творили суд». В центре, чуть впереди

толпы на пне сидел Стась, а перед ним на коленях стоял без шапки и раздетый до рубашки Адам; его держали за заведенные за спину руки двое приближенных Космодея, то и дело принуждая к поклону до самой земли.

— Допроповедовался, — тихо сказал кто-то. — Говорили ему, не лезь со своей правдой к подонкам — убьют. Так нет — сме-елый. Шас оне и Гераклу управят заодно.

— Может, пособим Яшке, — робко предложил другой. — Если всем народом...

— На тот свет захотел? — перебили его. — Их вон шишнадцать харь, и у каждого финка. Если че, так и все ворье сюды примчится. Вон же оне, там, за распадком. Оне, может, только сигнала и дожидаются, чтобы всех перерезать. Эх, ежели бы Сломского с людьми не услали, была бы потеха.

— Да, те рисковые. Шпана с ними считалась, не то что с нами.

— То-то и оно.

— Смотри, Геракла от костра заходит. Че удумал? Сам сгореть захотел, ли че ли?

— Это он их от костра отрезает. Ох, и рисковый мужик, никогда бы не подумал.

Не доходя до толпы, Яков остановился. Он расслышал слова Стася, произнесенные нарочито гундосым голосом.

— За невыполнение приказа приговаривается раб Божий, — дальнейшие слова его потонули в общем хохоте, и шобла едино выдохнула: «Аминь! Подняли

и понесли!» — И двое амбалов, подхватив Адама под мышки, потащили его к костру. Остальные, выстроившись похоронной процессией и так же гундосо имитируя похоронный марш, следовали чуть поодаль.

— Отпустите Андрея, — притулившись спиной к сиротливо стоявшей у них на пути одинокой сосне, негромко сказал Яков и поднял руку.

— Чи-иво-о? — толпа в замешательстве остановилась. Не в том смысле, что братва испугалась, а в том, кто осмелился на такое действие. Все ведь помнили, как год назад он сунулся было к костру за головешкой и как отбрил его Стась: «Кто разрешил этому ублюдку подходить к костру? А ну, пшел вон!» — И Яков, чуть помедлив, отошел. Это дало всем повод подумать, что

мужик он трусоватый. Не важно ведь, что он вообще никогда не подходил к костру: это-то как раз знали все, но значения это не имело.

Важно и особенно заметно, что он не стал подходить к нему после окрика. И частенько стали на него покрикивать, а то и прямо унижать, кому не лень. А он только отмалчивался, да иногда лишь покачивал головой. И вот теперь тут он стоял: трусоватый, забитый Яшка, один про-



тив шестнадцати, с требованием отпустить его друга?! Ну, не хамство ли? Это же в какие рамки!

— Отпустите ему попика, — неожиданно услышали они голос Стася и, предвкушая «киношку», на которое охоч был предводитель (что уж он там удумал на этот раз?), подчинились приказу. Яков тут же спрятал Адама за спину и тот принялся спешно надевать брошенную ему одежду. А Космодей подходил к ним развязной походкой в сопровождении двух амбалов, цепных псов, которых боялись и ненавидели все без исключения ээки. Момент был для него очень кстати: на тщедушном, да еще верующем, мужичке-богомольнике много авторитета не заработаешь, а вот сломать такого быка, как этот трусоватый фриц — а уж он его ломает, не сумлевайтесь! — дело стоящее. И вот как раз ради этих двух амбалов — шибко много стали мнить о себе; острастка нужна, чтобы свое место знали! — и понадобилось ему «управить» Якова. Остальная же братва застыла на месте в нетерпеливом ожидании.

— Я передумал, братва, — полуобернулся он к ним и поправил топорик под бечевкой, щегольски подпоясывавшей его добротный черный бушлат. — Пусть живет попик, если за нас чичас помолится. Ну, чтобы мне Яшка вместо Машки стал. А, как, братаны?

Взрыв радостного хохота волной раскатился по лесосеке. Так и есть: ох, и горазд на выдумки хохол, а то уж совсем было расстроились, что представления не будет. Стась впился колючими глазами в Якова.

— Ну-ка, скажи попу: пусть молится, сукин сын. — И шагнул, вытянув растопыренную пятерню: — А ты иди ко мне... Посалуемся.

И тут случилось невероятное: ухватив руку главаря, Яков дернул его к себе и, обхватив на уровне груди, стиснул так, что изнутри у того вырвался только сдавленный хрип. Не дав ему опомниться, Яков сбросил с него огромную шапку и с силой шмякнул его башкой о сосну. Обмяк всем телом предводитель и бесформенным кулем плюхнулся к его ногам. В ту же секунду Яков переступил через него, сгреб и со страшной силой стукнул черепами опешивших, не успевших ничего понять, амбалов. И еще раз, и вышиб дух из обоих, и отшвырнул их в сторону.

— Ну, хто ишо?

Какое-то мгновение длилось оцепенение, затем послышался визгливый голос шавки Стася — Левки. «Че смотрите? Бей ублюдка!»

И тогда началось такое, о чем долго потом рассказывали не только у них в отряде. Неповоротливые в своих навздеванных шмутках и огромных валенках уголовники, мешая друг другу, полезли прямо на Якова. А он, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары, как былинный воин стал расшвыривать их по сторонам и они летали по вырубке, напоминая взлохмаченных ворон. И тот, кто улетал или попадался под его кулак, не принимал больше участия в драке. Крики, стоны, ругань, рев разъяренных мужиков и подбадривающие

Якова возгласы зевак слились в один неистовый гул, огласивший тайгу. И в этом гуле вдруг послышался ему пронзительный голос Адама: «Якоб! У него топор!» Он резко обернулся и увидел Адама, в отчаянии вцепившегося в рукав бушлата очухавшегося Стася. В руке того был топор и, видимо, он замахнулся уже им, но Адам успел в него вцепиться. Толпа застыла в оцепенении.

В один шаг достиг Яков предводителя братвы и с размаху, как молотом по наковальне, треснул его по стриженной башке. И тот рухнул, как подкошенный сноп. Теперь уже надолго. Выхватив топорик, Яков взмахнул им над головой: охнула и отшатнулась братва, а он с этого размаху и всадил топорик в сосну по самый обух.

То ли поэтому, то ли потому, что растерялись урки, но послышался вдруг от бровки призывный клич: «Да че ж мы смотрим-то? Бей шпану, кровопивцев! Поше-о-ол!» И высыпали на вырубку мужики. Раскачался народ: долго тлела обида за унижения, издевательства, за всю ту скотскую жизнь, уготованную им властями, долго накапливалась она по нарастающей, и вот, ненавистью выплеснулась на тех, кто был их же подобием: таким же, в сущности, обездоленным людом, только наглым и жестоким, как и власти. И зрелище это было страшным. Жестокость порождает жестокость. Разъяренные вначале, а теперь очумевшие от страха при виде превосходящих сил противника, уголовники бросили сопротивление и пытались удрать с деляны в лес, а их настигали и били, били, били. Напрасно метался Адам от одного к друго-

му, уговаривая мужиков остановиться: никто на него не обращал внимания. Вот рядом с ним трое эков сбили удиравшего со всех ног Левку и начали мутузить.

— Не трогайте пацана! Якоб, помоги! — кинулся он к ним, и тот, уже отстранившийся от драки, поспешил к нему и отшвырнул назад пару мужиков. Те, тяжело дыша от злости, в недоумении воззрились на него.

— Ты че, Яша, это ж Космодеева сявка.

Тот только пожал плечами, показывая на Адама, дескать, раз тому надо, значит так надо. Сам бы он не вступился: голос призвавшего к бойне шестерки он очень хорошо расслышал.

Чума продолжал неподвижно лежать лицом в снег, закрыв голову руками.

90 — Левка, Лева, — перевернул и посадил его Адам. — Живой, нет? — Мужики в неутоленном негодовании обступили их.

Левка с трудом разлепил глаза от снега. От распухшего носа к правому глазу уже лиловел синяк. Показалось, что он ничего не соображает. Но, различив Адама, он вдруг проворно сунул руку под фуфайку и выкинул ее резко ему в лицо.

— Н-на, тварюга! — в руке блеснула заточка.

Чудом успел ближний к Адаму мужик подставить свой пим. Рука, изменив направление, лишь скользнула по фуфайке Адама, распоров материю на плече. Другой мужик тут же наддал пимом под подбородок и Левка снова ткнулся в снег.

— Вот тебе благодарность на твою милость! — свирепо сверкнув глазами на Адама, выкрикнул мужик и занес ногу для прицельного удара по голове Чумы. — У-у, пада.

— Не трогай! — Адам успел оттолкнуть его. — Отойди!

— Он же, гнус, тебя без глаз чуть не оставил, — обиделся мужик, зыркнул на Яшку и, не найдя поддержки, сплюнул досадливо и побежал к другой сваре.

Адам опустился на снег, тихонько дотронулся до неподвижного Левки и подsunул руку ему под голову.

— Лева, вставай сынок, вставай, — приподнял он его, и захватив пальцами обшлаг фуфайки стал утирать кровь с его лица. И изумленный Яков увидел, что этот подленький змееныш, которого он в душе презирал даже больше, чем кого-либо другого из урок; этот змееныш — плачет! И нисколько не противится, что Адам ласковыми прикосновениями, словно малому дитяти, утирает его слезы. Утирает и... тоже плачет!

— Прости ты меня, дядь Андрей, прости, — впервые за долгие годы на простом человеческом языке чуть слышно просит Левка. И оттого, наверное, еще большим градом льются слезы. — Прости ты меня, за ради Христа...

Откуда и слово-то вспомнил!

— Бог простит, Лева. Бог простит...

Перевернулось все внутри Якова, задрожали губы, подкатил к горлу ком: вот так же вот когда-то успокаивал его Фридрих. Чувствует Яков неодолимое желание

встать рядом с Адамом, и даже видит уже себя склонившимся с ним рядом в молитве. Но зашептал кто-то укором в сердце: «Опомнись! Что подумают о тебе зэки?» — и сам себя устыдился в последний момент. И чтобы совсем подавить, как он то полагает, минутную слабость — не мужик ли он! — развернулся, споро шагнул к сосне, ухватил топорик и яростно рванул на себя. Только топорище в руках и осталось: сам же топор намертво засел в дереве. Это уж потом он его вызволит и оставит себе на память о Космодее. И слышит он, как Адам уговаривает Левку.

— Уходить надо отсюда, сынок. Быстрее, вон, слышишь, солдаты с овчарками проснулись. — И силится поднять его. Помог Яков Левку на ноги поставить и втроем покинули они «поле боя»...

Только начав палить в воздух смог утихомирить разбушевавшихся зэков поздно прибежавший конвой. Поздно, потому что ожидали-то совсем не этой развязки, а именно что наглядного развенчания самими зэками враждебного их обществу проповедника Божьего слова — этого «опиума для народа». Поэтому и удалились на приличное расстояние, чтобы «не заметить» заранее самими же заготовленного мероприятия.

И мера эта в общем-то была вынужденной. Ну, раз не понимал Адам в личных беседах с начальством какой непоправимый духовный вред своими рассказами о Боге наносит он счастливым строителям светлого общества равенства и братства. Вот и пусть, мол, это уже

начавшее просветляться общество само ему и покажет, какой он есть пережиток. А главное — попробовать выудить у него Евангелие. Или, чтобы он оказал, у кого оно. Правда, по замыслу его нужно было только поугатать и осрамить перед ээками, не применяя побоев. А уж этаким-то макарон кум и сам бы мог куда как с добром справиться. Да вот закавыка: оно, конечно, можно сделать и так, что вмиг окочурится проповедник — легче легкого! Что, кстати, не раз и предлагал опер, но строго запретил Кожин. Ведь все производство без него встанет. И поселок в том числе. Лесопилка вон день да через день встает: поди разберись, где собака зарыта, а он без всяких инструкций докопается и устранил. Он тебе и слесарь, и механик, и электрик. Все обветшалое оборудование только на одном его честном слове и держится. Вот и пришлось куму тайком от Кожина подсуетиться. Кто же предполагал, что урки так войдут в роль инквизиторов? Видать, и вправду живет в людях любовь к живым кострам. В общем, не такие оказались последствия, как того хотелось бы. Потому и вынуждено было начальство задуматься об отправке на этап доброй половины кодлы Стася. Чтобы разбросать по другим зонам, а то неровен час — управят их втихаря «мужики». У них теперь свой лидер появился: Яшка Габт. И прозвище у него подходящее — Геракла. Но это хороший лидер, такой начальству только на руку. Безграмотный, смиренный, даже забитый мужик, наделенный огромной силой, и вдруг взорвавшийся

в защиту друга. Это всего лишь одномоментный порыв души. Такого приручить и обернуть себе на пользу, так это ж — дважды два! И польза будет огромной, как и его необузданная сила. Забегая вперед, скажем, что на этап урок все же отправили. От греха подальше. Так вот, по пути пятеро, с Космодеем во главе, ушли в побег. Поговаривали, что, мол, не вынес он позора. Ну, вынес не вынес, а только не обнаружили его среди замерзших в тайге подельников. Удивлялись только, что как-то уж больно дружно они заколели: друг к дружке лежали, как бы согреваясь. Может быть и так, если предположить, что дружба их была настолько крепкой и настоящей, что они очень сильно хотели отправиться на тот свет обязательно вместе. Только никто за ними такого особого желания раньше не замечал. О какой бы то ни было дружбе не могло быть и речи. Да и как же без командира тогда? Куда он делся? Слух опять же был, что видели его далеко за пределами области, мол, топчется на какой-то другой зоне. Может, и был он провокатором, кто знает? Слухи есть слухи, здесь-то, в этих краях, не видели его больше. Так что мало ли...

Начальство, оно ведь все одно награду за ту поимку поимело. А уж с помощью Космодея или без, так зэкам от той разницы ни холодно ни жарко. Как бы там ни было, а отправку уркаганов на этап ускорили два последовавших друг за другом трагических события.

Глава 11

Левка

Затаилась зона после свары. Урки «мужиков» опасаются, те в свою очередь их сторонятся. Но и те и другие с тревогой ждут, что предпримет администрация. А она не спешит. Вроде как зачинщиков выявляет. Хотя чего тут выявлять: оно все на виду было. Видимо, поэтому и пришлось Бешенкову все же определить Космодея в карцер на десять суток. 95

Посвободнее вздохнули зэки после такого решения. Полегче стало и на работе: десятник Лютов ходил с таким заискивающим видом — ну, ни дать ни взять овечка безвинная. Сам он чудом избежал тогда расправы, так как успел-таки в суматохе скрыться. А был-то он, между прочим, среди урок. Поэтому и стал теперь, как говорят, тише воды ниже травы. Шибко боялся Лютый за свою шкуру. А насчет Космодея, так это, конечно, никто не обманывался. Все знали, что ему и в карцере жизнь — разлюли-малина. Чего не скажешь о других урках, тех, что попроше да рангом пониже, посаженных заодно с ним. Ну да, посажены-то заодно, но ясно, что не вместе.

Уж они-то расхлебывали отсидку по полной программе, что как раз и было всем экам по душе: какая-никакая, а это была их победа. Тут еще поползли слухи, что многих урок отправят на этап. В общем, поутихли уголовники. Оказалось, что не такие уж они и отчаянные: получив неожиданный отпор, каждый из них, как и Лютый, дрожал за свою собственную шкуру.

По какому-то неведомому для Левки раскладу, карцера он избежал. А это ведь было как само собой разумеющееся, что должен был отправиться туда вслед за своим шефом. Тогда почему не отправили? Скверное предчувствие одолевало Левку. Еще неизвестно, куда отнести сие везение. Ведь, если прибавить сюда события самой свары... Вряд ли урки остались в неведении насчет него. Не прошло для них незаметным его спасение Адамом. Да и теперешнее их общение: как бы старательно ни скрывал он своих посещений каптерки баптиста — шила в мешке не утаишь. Все чаще стал он ловить косые усмешки блатарей. Того и гляди прирежут за нарушение воровской этики. И сделать это проще всего как раз на этапе, если таковой действительно состоится. Во всяком случае, в том, что он потерял доверие Космодея, Левка убедился еще до выхода Стася из карцера. Убедился в этом, совершенно случайно подслушав разговор Лешего с Кетменем, тех самых двух амбалов. Речь шла о приказе Космодея посчитаться с «мужиками». Теперь уже не открыто, а чисто по-воровски, то есть, по одному и «втемную».

В решениях такого рода Левка всегда должен был присутствовать. А раз не пригласили, значит дела его плохи. Странно, но почему-то он не испытал того обязательного страха, который обычно испытывал перед Стасем за какую-нибудь свою провинность. Наоборот, ощутил Лева некоторое в душе облегчение. Все чаще оглядывался он теперь на свою прошлую жизнь, и все чаще стал мечтать о другой. Той, о которой так просто и доходчиво говорил этот зэк Андрей. И она теперь манила его своим свежим дыханием, сердечной добротой, а главное — беззаветной, трепетной и нежной любовью, с какой Андрей говорил о Боге. И это, как он говорит, всего лишь ответ на любовь Бога. Такое возможно только потому, что Сам Бог любит его такой любовью. И не только его: оказывается, Бог может любить даже такого грешника, как Левка. Только для этого надо покаяться в своих грехах. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Когда услышал Левка эту притчу Иисуса о пропавшей овце, все, буквально все перевернулось в его представлении о жизни. Да ведь та заблудившаяся овца — он и есть! И найдет ли его Христос, теперь, когда он это понял, зависит от него самого. Левке страстно хотелось, чтобы нашел, но что-то мешало решительному шагу к покаянию. Кажется, он знал — что. Это тот его крик-призыв к избиению Гераклы. Левку пронизывали судороги по всему телу, как только он вспоминал тот, свой визг. И становился омерзительным самому себе.

Ведь этот Габт — лучший друг Андрея. А когда Адам рассказал ему о его судьбе и за что он сидит, Левка стал презирать себя вдвойне. Это и мешало ему встать на колени рядом с Адамом, когда тот молился в конце каждой их беседы. Но вот следовала новая их встреча, и снова в душе умиротворение, и полнится она светом и неизъяснимым покоем. Всего-то неделя общения, а Левка уже с нетерпением ждал каждого следующего дня, следующей встречи. Как губка, впитывал он стихи из Библии и тут же запоминал их. Он даже не догадывался, что это память его, омываемая священной кровью Иисуса, очищалась от всего лживого и наносного, от всей мирской грязи, и уже на чистый лист прозревающей души ложились божественные стихи. И западали туда навсегда.

Как-то в один из этих дней случилось им встретиться и с Яковом. Тот забежал вечером к Адаму в каптерку сообщить что-то важное. Левка невольно вздрогнул, съежился, да так и застыл в углу на табуретке. Оторопел и Габт. С того памятного дня не виделся он ни с Адамом, ни тем более, с Чумой. И уж, конечно, не предвидел столь скорого его появления в этой каптерке. Ведь здесь бывали только те, кому доверял ее хозяин. Так неужто Адам перековал этого змееныша? Так скоро? Как-то не верилось. Адам молча наблюдал за ними, потом решил разрядить обстановку.

— Ну, что вы молчите? — улыбнулся он. — Здоровайтесь! Думаю, вас знакомить не надо. А, Лева, ты ведь что-то хотел сказать Якову?

Левка приподнялся с табуретки, лицо его от возбуждения покрылось пятнами. Он сделал шаг навстречу Якову и протянул руку.

— Ты это, Гера... то есть, Яша... прости в общем... если можешь.

— Да ладно, че там, — закашлялся тот, пытаюсь скрыть замешательство. — Это ж, как Андрей вон скажет. А я че? Я — как он. Раз принимает тебя, значит и я без претензий. Так-то вот. — Помолчал немного и уже поспокойнее, глядя прямо в глаза Левке. — Все же спрошу тебя: а как Космодей прознает, что ходишь сюда — не боишься? У вас же это... как там... «западло» считается?

— Боюсь, — честно признался Левка. — Только пусть они считают, как хотят, мне теперь все равно. Я им свой долг заплатил сполна. Выше крыши отработал. Попробую поговорить по душам, а там — что будет, то и будет. — Он не прятал глаз, говорил просто, без обычного гонора, и это сильно понравилось Якову. Но при последних словах он криво усмехнулся.

— Поговорить... Трудно тебе будет с ними говорить, паря. Нешто думаешь, поймут чего?

— А мы попробуем, Яша, — улыбнулся Адам. — Бога в молитве просить будем о помощи. Если Отцу нашему Небесному будет то угодно, все и образуется. Для Него нет ничего невозможного.

— Ну, я это... пошел, — тут же заторопился Яков, как делал это всегда при упоминании молитвы.

— Да ты ж чего-то сказать приходил? — остановил его Адам.

Яков отчего-то вздохнул и покачал головой.

— Потом как-нибудь обскажу. Неспешно это. — И, уже уходя, обернулся. — Вы... это самое... На Бога надейся, а сам не плошай. Ты, Левка, ежли че, можешь на меня рассчитывать. Пособлю, ежли че оглоеды твои задумают. — И тут же поправился. — Бывшие твои.

— Спасибо, Яша, — голос Левки дрогнул, но Яков уже не услышал его.

И вот Левка узнал, что они задумали. И, надо сказать, это повергло его в величайшее смятение. Нет, он и так не сомневался, что Стась так просто не оставит свое поражение, но чтобы вот так скоро? Потом понял: это же специально, чтобы Космодей стал как бы ни причем, потому как находится в карцере. Иначе-то все сразу укажет на него. А что начнут именно с Гераклы, так тут их как раз можно понять: и амбалов, и самого Космодея. Шибко унизил их этот увалень. А в «мужиках» разбудил чувство собственного достоинства. Уверенность вселил. Вот первым делом и надо было «источник» той уверенности отправить на тот свет.

Не стал Левка дожидаться вечера, а голимым днем подкараулил Адама за штабелями леса, когда тот возвращался с лесопилки. И, убедившись, что никто за ним не следит, окликнул его вполголоса. Адам быстро подошел и озабоченно всмотрелся в парня. Выглядел Чумилин удручающе: скорей всего, себя он уже похо-

ронил. А вот, что ждал его, так для того, чтобы предупредить: собираются урки пришить этой ночью Яшку. И это только для начала. Потом будет очередь Адама. Исполнять сегодня будет кто-то из этой самой пары амбалов: либо Леший, либо Кетмень. А то и оба вместе. У этих рука не дрогнет. Эти не засомневаются.

— Все, дядь Андрей, прощай теперя. И прости меня, если че со мной будет. Если застукают, что сегодня с тобой виделся — хана тут же придет. Нет — тогда попозже. Чую, конец мне все одно теперь один. Не жилец я.

— Лева, — заторопился Адам. — Продержись до вечера. Поостерегись. И помоги мне, сынок. Якову, считай, ты уже помог. Помоги и мне.

— Чем, дядь Андрей? — от удивления округлил глаза Левка.

— Молись за себя Богу. Непрестанно молись, где бы ни был. Проси Его спасти тебя. Как умеешь, так и проси. Сильно ты этим мне поможешь, Лева. А результат в себе увидишь. Обязательно увидишь. Ну, иди, вроде никого кругом. Давай, до вечера.

Усмехнулся горько Чума: легко сказать — молись. Вот если бы вместе молиться — может и получилось бы. И откуда только этот Андрей слова находит для молитвы — так у него все складно выходит. Разве ж у Левки может так получиться, если он двух слов связать не может. Не сподобился он красноречию. Вот что-нибудь по-блатному загнуть — так это да. Тут он оратор. А чтобы молитву... И все же стал в надежде повторять про себя

незамысловатую и не совсем складную просьбу, обращаясь к Тому, Кого еще не знал, но к Кому уже стремился: «Спаси мне жизнь, Боже. Улести Космодея, чтобы не лютовал. Помилуй меня, Боже!» И чувствовал с удивлением и какой-то неизбывной радостью, как уходит из души страх и нисходит на него покой и умиротворение.

Этим же вечером совершенно неожиданно троих из их барака, в том числе и его, посадили в бур за нечеткое изображение лагерного номера на фуфайке. Самому оперу на глаза попался Левка. Был тот, правда, не в самом плохом расположении духа и назначил всем по двое суток с выводом. А Левке — пять, за то что огрызался и — без вывода. И опять не знает он, то ли радоваться такому обороту, то ли чего хуже ожидать. Ведь если этап будет сразу по выходу Космодея из карцера, то Левке еще трое суток там пребывать. Ну, это еще ничего не значит: могут забрать и из карцера. И тогда... Буквально через час провел его надзиратель в камеру Стася.

«Если скажет о плане против Гераклы, значит есть еще шанс: нет — пиши пропало!» — тоскливо загадал Левка.

Не сказал Стась. Даже словом не обмолвился. Буравил глазами, выпытывал, что да как, но прямо не обвинил в предательстве. С ухмылкой, правда, намекнул, что рано, мол, кое-кто из братвы откачнулся от него. И эти «кое-кто» завтра же у него в ногах валяться будут. Но конкретно распространяться не стал и за неимением времени — не в гостях, в карцере

находятся! — быстро отпустил. Понял Чума, что не принял пока решения шеф насчет его.

А наутро зашел в камеру Адам, вроде как чинить проводку, и по выражению его лица догадался Левка, что с Гераклом все в порядке. Адам здоровкался с арестантами и незаметно при этом оставил в руке у Левки клочок бумаги. «Молись!» — одно только слово и прочитал там, но сегодня оно прозвучало для него уже столь обнадеживающе, что он непроизвольно улыбнулся краешком губ и с удвоившейся теперь надеждой стал горячо призывать имя Бога. Снова и снова повторял он без устали: «Спаси и помилуй! Спаси и помилуй!»

Как заклинание, повторял. Потом, когда по камерам отстучали, что освободили Космодея, затаился в ожидании. А к вечеру дошла и сюда сногшибательная 103 весть: управил кто-то этой ночью Лешего. Насмерть управил. И хоть у Левки перед братвой стопроцентное алиби — холод по всему телу. Так и веет-навевает тоску смертную. Что-то теперь с ним будет? Видно, не зря так говорят: ждать да догонять — хуже нет занятия.

Так и следующей ночью, стуча зубами от холода, не переставал Левка молиться. А стоило забыться на какое-то время — вся его короткая жизнь в несвязных отрывках — перед глазами. Да и какая это жизнь, если с тринадцати — по тюрьмам. Сначала в детской колонии, потом и во взрослой. Всего-то полгода, считай, передыху и было. Мало-помалу нашло на него успокоение и утонул парень в воспоминаниях...

Глава 12

Бригадир

104

А Якова раздирали противоречивые чувства после той встречи с Левкой. С одной стороны — дивно, что не расходятся у Адама слова с делом: ведь вон какой поганец прямо на глазах превращается в человека. С другой: не простят этого урки. Ни Левке, ни Адаму не простят. И тревожно ему за друга. Ничему не научила его та свара, в которой дважды чуть не лишился жизни. Сначала чуть на костре не поджарили, потом — вот от этого самого Левки: если не жизни, то глаз бы лишился уж точно. Не-е, это урки до поры, до времени схоронились: так этого они не оставят. Такие вот мысли одолевали теперь Якова. А приходил-то он к Адаму совсем с другими. Шел, чтобы поделиться новостью, о какой сам не мог сказать — хорошая она или плохая. Дело в том, что предложило ему начальство стать бригадиром. Прознали, что он был мостостроителем, вот и предложили. Ну, как предложили? Сначала-то — да, предложили. А когда отказался — приказали, да и все тут. Или вон, мол, из бура не вылезешь, пока лапти не

отбросишь. Вот тебе и альтернатива. Правда, дали время оглядеться да самому людей подобрать более-менее мастеровых. Работы-то непочатый край: мосты через реки наводить. В том числе и для сокращения пути и более рентабельной вывозки леса.

К тому времени страсти на зоне в основном поутихли. Потаскали мужиков после того побоища, потаскали, но чтобы уж слишком крутые меры к ним были приняты, сказать нельзя. Да если что и приняли, так это вроде бы как и не касаясь той драки. И Яков уже присмотрел подходящих себе людей, сколотил, так сказать, костяк бригады. Теперь вот жалел, что не посоветовался с Адамом. Не захотел, чтобы Левка об этом слышал. И тут Якова словно током ожгло: вспомнил тот давний разговор на предмет Левкиного превращения из урки в человека. Так ведь оно-таки произошло! Ну, или на пути он к этому. Вон какими преданными глазами на Адама смотрит. Тогда почему бы его не взять в бригаду? Может, хоть этим угодить другу своему! Ведь если Левка у него работать будет, то не больно-то уголовники решатся посчитаться с перебежчиком. И такое благословение снизошло на Якова, что располагай он временем, сейчас же вернулся бы в каптерку и засвидетельствовал Адаму о своем предложении. Но близилась вечерняя поверка и он заспешил в свой барак, твердо решив завтра же поставить его в известность.

Случилось же так, что на завтра Адам сам нашел его. Прямо на выходе из конторки, где Яков принимал последние наставления уже в качестве бригадира. И по

его озабоченному виду Яков понял: случилось что-то из ряда вон. Адам коротко пересказал то, о чем ему поведал Левка.

— Это будет один из этих субчиков, — закончил он. — Или оба вместе. Что ты обо всем этом думаешь?

— Решились, значит, — только и сказал угрюмо Яков. — Ну-ну. Пущай.

— Может, стоит предупредить? — кивнул головой Адам в сторону штабного барака. — Начальству сейчас любое ЧП поперек горла.

— Да нет, — многозначительно усмехнулся Яков. — Сами разберемся.

— Будь осторожен, Яша. И — это, не перестарайся.

— А я и стараться не буду, — не снимал усмешки

106 Яков. — У меня теперь бригада есть. А в ней ребята, которым что Леший, что Кетмень — все едино. У них с ними давние счеты. Они теперь силу свою почуяли. Ты это, передай Левке спасибо от меня. Знаешь, я еще вчера решил взять его к себе в бригаду. Если он не против, конечно? Ну, и ты тоже.

Лицо Адама расплылось в улыбке.

— Рад это слышать, Яша. Но я тоже хочу, чтобы его определили ко мне в подсобники. А то ведь парню скоро на свободу, а специальности никакой нет.

— Вот это дело! — крикнул Яков. — Тут мне и сказать нечего.

— Ну, что, пойду я. А то больно глаз много. Буду молиться за тебя.

— Да все путем, Андрюша. Сильно-то уж не беспокойся.

* * *

Зябко на посту в такую морозную ночь. Особенно если пост этот — лагерная вышка. Тоска такая, хоть волком вой, и время тянется как... да нет, не тянется — на месте стоит. И растет раздражение в душе у вертухая: ну, на кой еще ляд тут на верхотуре человека морозить! Вся зона под прожекторами как на ладони, собаки по всему периметру — кто отсюда бежать вздумает? Тут мышь не проскользнет, не только зэк. Да и куда бежать в такой лютый мороз? Солдат поежился. По доброй воле он вряд ли когда дерзнул бы сюда поехать. Но служба есть служба. В армии-то, конечно, надо служить; но не в НКВД, а по-нормальному. Так, как он это себе представлял до призыва: матросом на корабле или пограничником на заставе. Чтобы родным своим да девушке любимой не стыдно было карточку прислать. В форме и с оружием. В бескозырке или рядом со служебной овчаркой. А отсюда, какую пошлешь? В бушлате, рядом сдохлыми зэками? «Вот, мои дорогие родные, с винтовкой — это я». Такую? Не-ет, не о такой службе он мечтал. Не столь уж и многим он тут от зэков отличается. Одно слово — тоска смертная. Тут еще как назло куплет из известной песни в мозгу крутится рефреном: «лишь на-а штыке у часово-ого горит полночная луна...».

А луна и вправду: ну не горит, конечно, но светит довольно ярко. И не на штывке, а высоко в небе. И здесь, на вышке, она своим неотступным стальным блеском леденит душу и наводит тоску на караульного. И есть у него одно-единственное желание: поскорее покинуть этот проклятый пост. Вновь и вновь он поеживается и плотнее кутается в полушубок. Муторно на душе, неуютно. Неуютно еще и оттого, что перед вахтой получил от старшего странную инструкцию. Тот отвел его в сторонку и тихо так сообщил.

— Там в шестом бараке урки ночью сходняк устроят, так ты, если что, шибко внимание не обращай, понял? Они тихо все провернут. — И сунул ему что-то в карман полушубка. — На вот, за труды праведные. Да не бойся, все ладом.

То, что блатные платят начальству — ни для кого не секрет, но чтобы самому получить «откат»... Это оказалось не так-то и приятно, даже напротив — страшновато стало. Но положение безвыходное: не побежишь же к оперу стучать на сослуживца. Еще и настучишь на собственную свою башку, ни на чью более. А деньги... ох, как нужны они человеку даже в этой Богом забытой дыре. И откуда они только берутся здесь у блатных? В общем, переборол страх служивый. Хотя еще и поэтому так долго для него тянулось время. Но все обошлось. Перед утром крадучись вышли из барака двое эков с какой-то ношей наперевес и быстро прошмыгнули за эстакады кругляка. И тут же вернулись.

Следуя инструкции, дозорный не обратил на них внимания. Все прошло действительно тихо-мирно. Тут аккурат и его смена закончилась. А уже днем, ближе к обеду обнаружили в приямке за эстакадами тело замерзшего насмерть ээка. Смерть, конечно, была насильственной, но самих следов насилия не было. Удивительно было еще и то, что погибшим оказался Леший, приближенный Стася. Личность известная: в зоне его боялись не меньше самого Космодея. Ну и соответственно пущенная сразу же кем-то умным догадка на всю зону, что-де чем-то не угодил Леший своему патрону. Оно и понятно: кто же осмелился бы поднять на него руку без позволения самого Космодея?

Так думало, в том числе, и большинство охранников. Об истинном положении вещей знали только двое-трое из них, из которых и уже знакомый нам часовой. Уж он-то видел — и теперь в этом был уверен! — что это труп Лешего вынесли перед утром из шестого барака, в то время как сам-то он был из второго. Как же он тогда оказался ночью в чужом бараке? Вот то-то и оно. Ясно, что искал чьей-то смерти, потому что слыл заплечных дел мастером при Космодее. Ну, чью бы ни искал, а нашел свою собственную. Еще об этом знали двое эков, но делиться такими знаниями по вполне понятным причинам ни с кем не спешили. И только им было понятно для чего этим же вечером, сразу после обнаружения трупа, Яков Габт был препровожден к «куму» — оперу Бешенкову.

Глава 13

Прокопчук

Уже перед самой вечерней поверкой пришел за ним в барак конвоир Прокопчук. Этот парень появился в лагере месяца три назад. Высокий, подтянутый, даже щеголеватый, он выгодно отличался от замухрышных конвоиров, коими в основном были «старики», давно махнувшие рукой на свой внешний вид. Перед кем рисоваться? Перед зэками? Да им бы службу до дембеля дотянуть — и все дела. А этот... Поговаривали, что попал он сюда за какую-то провинность, а уж за что, про что, никто кроме начальства не знал. Служил, мол, при штабе в Вологде и имел хорошие перспективы по службе. Так может, за эти самые перспективы и сослали в здешнюю Тьмутаракань? Ну, не имел их чтобы. А то, вишь ты, всем перспективы подавай, а кто ж тогда лямку конвоира в лагере тянуть будет?

Ну, Якову собраться: всех-то и делов, что прихватить фуфайку да шапку. Взглядом попрощался с притихшими товарищами и пошел за конвоиром через всю зону в штабной барак. Чувств он не испытывал никаких со-

вершенно, будто речь шла вовсе не о нем. Да в общем-то он никогда и не торопил события, не загадывал наперед, что с ним случится, и этим сохранял себе нервы. А уж что там будет, так того и не миновать. Снег скрипел под ногами, а низкая луна, наскоро посеребрив верхушки деревьев, загнала тайгу в еще более таинственную загадочную темь. Черной громадой заполнилось все пространство там вдали, за колючей проволокой. Здесь же, по эту сторону колючки, матовый свет от нее разливался по всей зоне, четко обозначив вышки и бараки. Не заблудишься, светло, как бывает летом в предрассветный час. Да еще очень зябко от желтых с оранжевым, очень правильных кругов лунных — холодом смертным веет от них.

Конвоир оставил Якова в пристройке штаба и пошел докладывать. Потом дверь распахнулась и дежурный по штабу сержант Злобин, коренастый крепыш без наличия шеи, с башкой, втянутой в самые плечи, впустил его в жарко натопленную большую комнату. Прокопчук же ушел в надзирательскую.

— Ну, что, прибыл, герой? — облакачиваясь на стол, произнес капитан, не без любопытства разглядывая заключенного. Сегодня он был в благодушном настроении и не очень глубокие извилины его мозга занимала одна-единственная мысль: поскорее отвязаться от этой вот последней на сегодня беседы. Он сидел разутым, и ноги его под столом приятно охлаживала только что принесенная из поселка бутылка с самогоном. Приволок

ее вот только что один из его доверенных солдат и опер даже чертыхнулся, что совсем некстати вызвал этого бугая. На кой ляд он ему нужен был именно сейчас? Может, отправить его прямо с порога: не велика персона, придет завтра. Потом вспомнил: а, нет, ладно, пришел, так пришел. Это же его в бригадиры назначили. Тут у него с Кожиным спору не было: такой зэк был нужен обоим. Кожину — как специалист-работяга, оперу — как потенциальный подручный. Его только обкатать да приручить. А для этого рекомендуется для начала человечка хорошо припугнуть, несмотря на его внушительные габариты. Но ничего, обрабатывал опер и таких. Для этого самого и вызвал.

— Что ж ты не рапортуешь? Представься, — продолжил он, стараясь выглядеть миролюбиво.

И от этого мнимого миролюбия Якову стало не по себе. Он назвал свой номер и статью, по которой был осужден.

— Та-ак, Яков Габт, — зачем-то достал капитан из столешницы первую попавшуюся папку и в задумчивости полистал ее, словно сверяясь с чем-то. Так он делал всегда, чтобы напустить побольше важности. — Все верно. Знаешь, зачем вызвали? Ага, не знаешь. Ну, расскажи тогда, что там у вас на работе произошло? Ты сколько людей покалечил?

— Когда это? — вместо ответа спросил Яков. — У нас все тихо.

— Ты что, вопрос не слышал? — в голосе начальника

послышалась угроза. — Думаешь, бригадиром назначили, так не докопаемся, закроем дело? Выкладывай, что произошло на лесосеке. Кто свару затеял?

«Ну, вот теперь все на своем месте, без дураков», — облегченно вздохнул Яков. Он терялся когда люди начинали с ним хитрить. Немного помолчав, он ответил:

— Оборонялся я.

— Один, что ли? Кто еще с тобой оборонялся?

— Я за других не ответчик. Я за себя стоял.

— Или за дружка своего?

— Друзей много. За всех разве ж постоишь?

— Ну, за этого, за Штресслера.

— И за него — нет. Он за себя сам постоять может.

— Так. Значит, он там был? Подтверждаешь? Да ты не тушуйся, я и без тебя все это знаю.

— А зачем тогда спрашивать?

— Да-а. А ты и вправду не шибко говорливый. Ну, ничего, я тебя разговорю. Что молчишь, не веришь?

Яков пожал плечами.

— Не веришь? Ты что, не знаешь, что я могу с тобой сделать? — медленно прошипел опер и вдруг отчетливо увидел, как просветлел лицом зэк и что-то похожее на улыбку тронуло его губы.

А ведь Яков действительно улыбался. В кои-то веки стало вдруг радостно на душе этого замкнутого человека. Это оттого, что ответ именно на такие слова он знал! Знал наизусть, потому как бессчетно раз просил Адама повторить ему ответ Христа Пилату. Тот вот так же вот

угрожал Иисусу: что, мол, не знаешь ли, что я властен с тобой сделать? Иисус и ответил тогда: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше.» Но почему это пришло ему на память сейчас? Волна необъяснимой радости вдруг наполнила его; все существо его возликовало, он улыбался все шире и шире и... забыл, что стоит перед грозой всего лагеря — бешеным опером. Наоборот, он в каком-то мстительно-отчаянном превосходстве созерцал беснующегося опера, и ощущал от этого истинное удовлетворение.

— Тю-ю! Никак погнал? — присвистнул ошарашенный капитан и, привстав, привычно потянулся рукой к кобуре. — Сдвиг по фазе? Ну, я тебя быстро в чувства приведу. А ну, закрой хайло! — рывкнул он так, что в

114

дверях тут же появился сержант и кинулся, было, к эку, но Бешенков упреждающим жестом остановил его. — Ну! Не слышишь, что ли?

Яков с сожалением вернулся в реальность и с укором, с каким отец смотрит на ребенка, оторвавшего его от чтения интересной книги, посмотрел на капитана.

— Что? — немного сбавил тот обороты. — Привидение увидел?

— Не-а, — покачал головой Яков. — Бога. Услышал. Сколько до этого пытался, все никак. А вот чичас услышал.

Бешенков озабоченно переглянулся с дежурным. Тот недоуменно пожал плечами, что, мол, только что нормальный был. Да и не похоже, чтобы такой богатырь «гусей погнал».

— Ну, и что Он тебе сказал? Бог твой? — вкрадчиво спросил опер.

— Да как сказал. Сказал, что делать-то вы сами по себе ничего не можете, пока вам свыше не разрешат, — ткнул пальцем в потолок Яков.

— Йех, ты, мать честная! Видал, Злобин, до чего игра в бирюльки с этими богомольниками приводит? Он же, образина, напрочь чокнулся. Ну, что ж, надо привести в чувство.

Дежурный принял слово, как призыв к действию, и по обыкновению сделал шаг к ээку с явным намерением «вправить мозги». Но увидев, как тот развернулся к нему, расправив плечи, вспомнил, повидимому, рассказ о Космодее и в нерешительности остановился. Попросту говоря, струсил сержант. На выручку пришел командир.

— Отставить, — как-то устало махнул он ему рукой и опустился на стул. — Что взять с кретина. Нешто он понимает, о чем говорит. — И передразнил. — Это же надо: свы-ыше! Тьфу! Это с его друга, который тут воду мутит, надо шкуру спустить. И свыше, и сниже. — И Якову: — Ну, а кто это мне тут будет «свыше», не подскажешь? А то я что-то не совсем вижу.

— Да как у каждого человека есть кто-нибудь свыше, — развел руками Яков, удивляясь своей собственной уверенности. — Вот и на начальников есть управа. Это Господь Бог Иисус Христос, кто же ишо.

— Тьфу, ты... Здорово же он тебя, лопуха, околпачил. Ну, ничего, ничего, он у меня еще попляшет. Ладно. Мне

этих заморочек с вашим Богом и без тебя хватает. Вижу, мужик ты открытый, скажи: это правда, что ты сам себе на днях палец на ноге оттяпал? Или разуваться будем?

— Отмерз он у меня: недоглядел я, ну и отморозил. А заживо гнить разве ж охота?

— Да нет, конечно.

Передернуло капитана: вот ведь сколько людей собственноручно замучил, но чтобы себе вред учинить!

— Как же ты... себе самому-то?

— Да как... Главное, половчей и побыстрей, чтобы не мучиться. Вам ли не знать, как это делается, гражданин начальник.

— Я не о том, — побагровев от ярости, процедил опер. — Где ты взял нож и как ты его пронес в зону?

116 Или вернее: кто тебе его пронес? Адам Штресслер? Только он разгуливает, где хочет.

— Нет, гражданин начальник, никакого ножа я не видел. И палец я не на зоне — на лесосеке отрезал. Топором Космодея отрезал. Я его топор себе на память оставил, раз он меня им не убил. — Тут капитан с дежурным переглянулись и едва заметно кивнули друг другу, что, мол, подтвердились показания сексотов. — А Штресслер, если бы видел, не разрешил бы мне этого делать.

— Вот как! — чуть успокоившись, удивился опер. — Тебе даже нужно его разрешение? И почему, интересно, он бы не разрешил?

— Потому что, говорит, наше тело тоже храм Божий и...

— Хорош, хорош, хватает, — замахал руками начальник и провел по горлу ладонью. — Вот вы где все баптисты-пропагандисты у меня сидите. — И снова вперился в Якова колючими глазами, но пытаясь придать голосу доверительность. — Слушай, ты же нормальный мужик. Ну, на кой ляд тебе нужен этот Штресслер с его болтовней о каком-то Боге? А?

— Нужон, значит.

— А зачем? Он что, срок тебе скостить может? Или его Бог может?

— Срок мой, мне и сидеть, — вздохнул и помрачнел Яков.

Эта перемена не ускользнула от чекиста.

— А я могу тебе скостить, — ему показалось, что нащупал он струнку в душе этого бугая, на которой сможет сыграть ту самую партию, ради которой и затеял все это: приручить зэка. Он достал чистый лист бумаги. — Тебе же еще ого сколь осталось! А вот мы щас одну фитюльку с тобой составим, подпишешь и... там все будет зависеть уже только от тебя.

Это мгновенно ассоциировалось у Якова с той давней сценой с опером Козловым. «Подпишешь — и пойдешь домой...»

— Сколько осталось — все мои, — угрюмо ответил он. — А бумагу можете убрать: подписывать я ничего не буду.

— А что так? — уже понимая, что разговорить мужика сегодня не удастся, Бешенков решил закончить беседу.

— Я уже подписал однажды такую бумагу. И схлопотал — червонец.

— А-а, понял, — усмехнулся опер, — очередная невинность. — Ему вдруг стало совершенно неинтересно продолжать допрос. Тем более, что бутылка под ногами все настойчивее напоминала о себе ласкающим холодком. — Нет, ты смотри-ка: прямо все ни за что сидят! Овечки, чтоб вас всех...

Он грязно выругался и снова впился глазами в эка.

— Ну, а Лешего, случаем, не ты управил? Ладно, можешь не отвечать. Но знай: у меня еще ни одного дела нераскрытым не осталось! Выяснится, что ты имел к этому касательство — позавидуешь Лешему. Это я тебе говорю: капитан Бешенков. Понял? Иди. Сержант, отдай его конвою.

Яков мерно вышагивал к бараку за Прокопчуком, а душу переполняло какое-то непонятное, волнующее смятение. Каким образом это у него так вышло! Ведь он никогда не заучивал тех слов; как же это получилось, что они сами пришли к нему в такой нужный момент! Взбудораженный и окрыленный этим открытием, он чувствует себя так легко и непринужденно, как, наверное, никогда еще в жизни не ощущал.

Вот и сейчас все больше слышанного от Адама выстраивается в памяти, и он повторяет целые фразы. И вдруг до него доходит, что повторяет он их вслух; понимает это потому, что Прокопчук, шагавший впереди, остановился и смотрит на него в изумлении с приоткрытым ртом. Этот

надзиратель всегда отличался от других большей своей терпимостью к зэкам и как-то по-особому благоволил к Адаму, не скрывая своего уважения к нему. Часто сам искал случая заговорить с ним о житье-бытье, и все откапывал откуда-то какой-нибудь каверзный вопрос о Боге. Нет, конечно, не он один проделывал это: другие надзиратели также частенько подначивали верующего зэка, всеми силами стараясь поставить его в тупик «заумными» вопросами. Однако ответы, как правило, их не интересовали: главное — вызвать смех окружающих самим вопросом. Остроумным, как им всем казалось.

Прокопчук же, если удавалось поговорить без свидетелей, с неподдельным интересом выслушивал ответ и жадно ловил каждое слово. Прилюдно же вступал в спор для того, чтобы в итоге с пренебрежительной усмешкой показать, что, мол, и он не лыком шит. Но в настоящей причине его любознательности, пусть и скрытой в усмешку, Адам не сомневался: человек искал Бога. Ох, как трудно в таком-то вот статусе — как никак надзиратель! — пойти против течения. Но Прокопчук был очень осторожен и повода заподозрить его в симпатиях к верующим не давал. С Яковым же он был запанибрата и даже называли они друг друга по имени. Опять же, без свидетелей когда.

— Как, как ты сказал? — доносится до Якова его голос. — Ты, друг, в своем уме? Как это так — врагов любить? Да кто ж такую глупость тебе в башку вбил: неужели Штресслер? А ведь умный мужик вроде, —

разводит руками и пожимает плечами конвойный. И недоуменно, и неодобрительно покачивает головой.

Яков даже растерялся от такой неожиданности: неужели это он сказал? Он поднял голову к небу, словно надеясь услышать подсказку оттуда. Не услышал, и после секундного колебания твердо сказал.

— Адам тут ни при чем. Он говорит то, что в Библии написано. Я хоть ее и не читал, но слышать — слышал. И мне трудно согласиться со всем, о чем он говорит. Но иногда — хочется. И вот в этом-то вся и штука. — И неожиданно для обоих: больше для себя, чем для Прокопчука, спросил. — Вот ты, Дмитрий, сам-то веришь в Бога?

Теперь смешался Прокопчук. Он явно не ожидал такого вопроса. Глухо откашлявшись в кулак, пробормотал куда-то в сторону.

— Веришь — не веришь... Не положено нам верить, вот и весь сказ. Про Бога-то кто может определенно сказать? Может быть, что Он и есть. Но Библия, — тут он весь подобрался и испытующе взглянул на зэка, — это уже, гражданин Габт, церковная пропаганда. Враждебная, стало быть. А с врагом надо бороться до полного его уничтожения. — Конвоир заметил легкий кивок Якова головой. — Согласен? Ну, вот: а ты — «любите врагов ваших»... Да если бы так, что ж ты Космодея тогда не сплюбил, а? Или — Прокопчук воровато оглянулся по сторонам — «кума» вон, а? Полюбишь ли когда? Я ведь о тебе много знаю. Будь твоя воля: разорвал

бы всех нас. Да нет, не думай, чисто по-людски я тебя не осуждаю. Все мы тут одинаково готовы сожрать друг друга. Вот и ты бы всех. Что, не так?

— Нет, не так, — тяжело вздохнул Яков. — Не всех. Тебя бы не тронул. Потому что ты не зверь, как остальные.

— Ну, зверь — не зверь, а с врагами тут у тебя полный перебор. Нельзя их, невозможно любить. — Прокопчук и так-то говорил негромко, а тут и вовсе понизил голос. — Что тебе щас скажу, никому ни слова. Обещаешь?

Яков кивнул.

— Я еще когда в Вологде при штабе служил, краем уха об амнистии слышал. Во всяком случае, приготовления уже шли. Но рассматривались почему-то только дела немцев: что-то там с международной обстановкой связано. Вроде как амнистируют по осени. Ну, конечно, тех, что более-менее неопасные. Так вот я там твою папку с документами сам видел. А когда тебя здесь встретил, вспомнил. Сначала, правда, засомневался, что о тебе это. Теперь вот прикинул: все сходится. И фамилия — Яков Габт, и статья, и лагерь. Отпустят тебя скоро, Яша. Как пить дать, отпустят.

У Якова перехватило дыхание. Он словно окаменел. Потом медленно склонился к Прокопчуку. И во всем облике вопрос. Тот понял.

— Немцы немцами, но Андрея среди них не было. Он — опасный. Тут уж как бы не добавили — и то ладно. С нашего лагеря — ты один. Так что жди, но никому

ни слова. И поберегись. Береженого Бог бережет. Эх, скорей бы уж и мне на свободу, — тоскливо вырвалось у него.

Яков почему-то не удивился этой тоскливости. Жизнь здесь и у них собачья. Только свободу они и эки немного по-разному понимают. Ну, так каждый ведь со своей колокольни...

И оба смолкли в раздумьи. Так и дошагали до барака.

В тот же день, по выходу Космодея из карцера, лагерь не досчитался еще одного заключенного: Кетменя. А с дюжину других урок пришлось госпитализировать с различного рода ранениями. Случилось все это ближе к вечеру, во время сходки главарей в одном из барачков. Бунт в среде урок против Космодея назревал давно, и он догадывался об этом. Кетмень и Леший с некоторых пор стали теснить его в правах и не скрывали своих амбиций. И теперь, после гибели одного, другой недвусмысленно обвинил Стася в преднамеренной подставе. А и правда: откуда «мужикам» стало известно об их вчерашнем плане по Гераклу, если об этом знали только трое: сам Космодей, Кетмень и Леший? Как они так подготовились, что без лишнего шума — да нет, вообще без шума! — смогли пришить Лешего? Просто так тот проколотся не мог: не сявка какая, не впервой ему такие дела проворачивать. У него все было схвачено. Вот и выходит, мол, что искать предателя надо из оставшихся двоих. Что касается его, Кетменя, то у него нет сомнения: это дело рук Стася. Таким путем он подставил Лешего,

чтобы избавиться от него. Вот так прямо и без обиняков сформулировал Кетмень свое обвинение.

Все это Стась предвидел, поэтому и подготовился более тщательно к разборке. В словесной дуэли он ловко обыграл туповатого Кетменя и очень быстро убедил братву в своей невинности. То есть, просто и доходчиво доказал, как сильно ему это невыгодно. И только потом уже призвал разобраться со своим обвинителем. Но разобраться по-умному, а не с бухты-баракты, как попытался это сделать сам Кетмень. В общем, проявил Космодей талант дипломата, убедительно доказав, что только он может управлять братвой в лагере. Убедить-то он убедил, да не всех. Так просто сдаваться не хотел не только сам Кетмень, но и его преданные дружки. И когда эти головорезы поняли, что их незадачливый главарь проигрывает, они, презрев все уголовные понятия, первыми затеяли поножовщину. В общем, не оставили его в беде, несмотря на численное превосходство сторонников Стася. В итоге, сам Кетмень сложил свою буйную головушку: кто-то (а кто — поди разберись!) пырнул его сзади под лопатку, и сразу — намертво; а кого-то, как уже сказано, пришлось отхаживать в санчасти. И уже на следующий день добрую половину урок, среди которых был и Космодей, отправили на этап. Не дожидаясь вполне возможной комиссии из центра: все же подряд две массовые драки и два убийства — многовато даже для зоны с такой худой славой, как эта. Ну, а что случилось на этапе, мы уже знаем.

Глава 14

Этап

124

Шли третьи сутки отсидки, и Левка все также продолжал молиться. Делал это он отнюдь не механически, наоборот, все осмысленнее становилось его обращение к Богу. Нельзя сказать, однако, что он совсем отрешился от реальности: напряжение в ожидании своей участи не спадало и стоило ему бо-ольших нервов. Вот только-только вроде поутихнут сомнения в действенности молитвы — ведь сколько благословенных моментов он пережил, ощущая Божью милость! — как тут же память подсунет какой-нибудь мерзкий эпизод из его непутевой жизни. И не просто так подсунет, а во всех мельчайших подробностях распределит. Да столь подробно, что аж подбросит Левку на нарах. Сядет он верхом на нарах, свесив ноги, обхватит голову руками и раскачивается долгое время, как полоумный. И прислушивается к чьему-то голосу. «Может, думаешь, и после этой пакости тебя в небеса примут?» — скрипит в ушах. — Нет, брат, дорога тебе одна: вместе со всеми урканами. А то, вишь ты, совестливым возомнил себя.

Ну-ка, ну-ка: где ж это она, совесть твоя, в ранешнее время была, а? Когда мать-старушку больную оставил? Где? Гляди-ка, сейчас-то вспомнил о ней. А когда денег было полные карманы — что ж, хотя бы с десятку не послал? А туда же — в святые — тьфу!» — И произвольно рвется стон из груди Левки Чумилина, вызывая поочередно то осуждение, то сочувствие сокамерников (в зависимости ночь это или день). И мается он из угла в угол по камере, как неприкаянный: нет места в жизни — ни в прошлой, ни в сегодняшней. И будущего нет. Тоска смертная! Пока не очнется он от наваждения; тогда нащупает тот листочек с буквами, к глазам поднесет, перечитает: «молись!» И — опять к молитве, как ко спасению. Так и чередовались вспышки отчаяния с просветлением и успокоением в молитве.

И вот после обеда какое-то чересчур шумное шевеление произошло в коридоре. Кубарем скатился Левка с нар: «Че, че там?».

— Братву на этап повели...

Не слушал дальше Чума, покачнулся и упал без сил на пол. Никто и внимания не обратил на молодого уркана: тут у каждого свое горе, своя забота. А он сидел на бетонном полу и не верил своему счастью. И только повторял про себя: «Как это могло случиться? Что ли, вымолил я? Значит, Бог и вправду есть!».

Этап ушел без него.

И почти следом его вызвали и повели в штабной барак. И снова паника: «Как же так: я ведь полностью

не отсидел еще? Зачем же сюда? Спихватились? Пошлют вдогонку?».

Надзиратель прошел к начальнику, оставив Левку в коридоре, потом завел и его. Кожин внимательно оглядел его.

— Ну что, Чумилин, говорят, ты в электрике кое-что кумекаешь, так?

И отлегло от сердца. Все для него прояснилось сразу: дядя Андрей! Но что отвечать? И спросил осторожно.

— А это в каком смысле?

— Смотри-ка, он еще и смысла захотел, — усмехнулся майор. — На, вот, — подал он Левке бумагу, — найдешь Адама Штресслера. Знаешь его?

— Знаю, гражданин начальник.

— Будешь с ним работать. Помощника он тут просил... тебя. Кумекаешь ты или нет — сейчас меня не интересует ни в каком смысле. А вот если через месяц не будешь кумекать — с обоих шкуру спушу. Понял?

— Так точно! — почему-то по-военному отчеканил Левка и чуть не подпрыгнул от радости. — Через месяц.

— Ну-ну, — одобрительно кивнул головой начальник. — Давай, дерзай.

Не в состоянии скрыть восторга, летел Левка по зоне. И все внутри его пело. У самого своего барака опомнился, вид сделал. Братва не вся на этап ушла: кто знает, что наказал оставшимся Космодей по его поводу. Хотя алиби у него конкретное: считай, трое суток карцера. А что в пару с Андреем поставили, так

разве ж он виноват? Да от такой работы ни один урка не откажется. Это ж не шнырем где-то прозябать. Одно только сомнение одолевало теперь Левку: сомнение совсем другого порядка. «Как это все так произошло? Неужели все это предусмотрел Андрей? Пстой! В тот первый раз он просил меня продержаться до вечера. Почему только до вечера? Разве мог он знать, что «кум» меня в карцер засадит?».

— Да конечно, нет, Лева, — улыбнулся Адам, когда тот выложил ему эти самые сомнения. — Просто мы с тобой оба молились об одном и том же. А Библия говорит, что если двое о чем-то в согласии просят Христа во имя Его, то все это будет им. Вот и все! У меня, по правде сказать, были совсем другие задумки. Но только Господь знает каким путем исполнить просьбу. Я и сам опешил, когда прознал, что тебя в кондей определили. А оказалось — это наилучший выход из положения. Кто бы мог подумать?

— Так это все Бог? — Левка смотрел широко раскрытыми глазами.

— Ну, а кто еще Лева? Скажи: кто-нибудь в зоне может что-то приказать Бешенкову? Даже начальник, может?

Левка отрицательно покачал головой.

— А Бог может. Не приказать, а заставить сделать так, чтобы это случилось. Только бы ты понял это и рассказал Ему обо всем, что у тебя наболело. Слышишь ведь, как Он стучит в твое сердце, слышишь?

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.» Вот как Он говорит к тебе. А тебе ведь тоже есть что Ему сказать, вот и зови Его. В покаянии и готовности к послушанию, не переставая зови, сынок? Христос ждет тебя.

Они сидели в каптерке Адама друг против друга и теперь так же — друг против друга — встали на колени. Говорить Лева не мог: обливаясь слезами, безмолвно высвобождал он душу от гнета мирских грехов. И в этот момент зэк Чумилин понял, что уже никогда более в своей жизни не вернется к своей прежней жизни. Без всяких клятв и зарок не вернется.

Такое же, если не большее счастье испытывал Адам.

128 Таинство спасения грешной души свершилось, и он в великой благодарности Богу за еще одного спасенного Им грешника прошептал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».

Левка оказался достаточно сообразительным учеником, хотя в жизни не имел дела с электричеством. Впрочем, дел он не имел и ни с какой другой профессией, за исключением — воровской. Через какой-то месяц он уже ходил как заправский электрик, самостоятельно выполняя несложные поручения Адама.

Глава 15

Доктор

А вот над самим Адамом, похоже, сгустились тучи. Все чаще стал вызывать его к себе Бешенков. Правда, всегда под благовидными предложениями: то проводку сменить, то розетку в кабинете переставить, то еще что-нибудь по мелочи. Бить больше не бил, но случая поговорить о Боге не упускал. И разговор плавно переводил на личности, расспрашивая не только о зэках, но другой раз и о самом Кожине. Это были как бы вопросы издалека, ни к чему, вроде бы, не обязывающие.

Однако многоопытный Адам уклонялся от ответов и не высказывал своего мнения даже на такие, на первый взгляд, безобидные темы. Откровенного разговора, как правило, не получалось, и каждый раз «кум» еле сдерживался, чтобы не обрушить на электрика силу своих кулаков.

И вот как-то вызвал его уже майор Кожин. С мрачным видом походил взад-вперед по кабинету, потом остановился против Адама.

— Худо твое дело, Штресслер. Приказывают перевести тебя в другой отряд. Вроде, мол, Чумилин уже может самостоятельно работать. Поди, докажи теперь, что парень только азы освоил. Но это еще ерунда. Если бы отсюда это исходило, я бы все уладил. Тут-то понимают, что без тебя производство как без рук. Но это отсюда, — он показал наверх. — Дознались, что ты на такой работе. М-да. А тебе вроде как не положено. Стаття у тебя, брат, никудышняя. Как бы еще в штрафзону не загребли. Но тут не только в тебе дело. Тут и под меня копают. И копают здесь, под боком. — Похоже, начальник виноватился перед Адамом: что, мол, нет у него возможности отвести такую беду. Как ни крути, а штрафзона — это уже даже не лесоповал. Это кое-что пострашнее.

— Ну, мне не впервой, — развел руками Адам. — Жалко, конечно, бросить все. Значит, так угодно Богу.

— Вот и ошибаешься, господин зэк. Это угодно кому угодно, только не Богу, — не удержался Кожин от каламбура. — Я знаю, кому это угодно. И это далеко-о не твой Бог. Хотя... — он усмехнулся чему-то, покачал головой. Немного помедлил: сказать-не сказать — и все же решился. — Хотя, говорят, что этот тип иногда им представляется. Богом, то есть.

— Кум?! — не удержался от восклицания Адам.

— Что, тоже слышал?

— Ну, это он всегда так, когда строжится. Я, мол, ваш бог и отец родной, и мать.

— Вот, видишь, а ты говоришь, что твой Бог все видит, все знает. Как же Он все видит, если под носом самозванец Его имя себе присваивает? Что ж это Он даже ухом не ведет, а? — Кожин немного даже повеселел. — Да, медлит твой Бог с мерами, медлит. Не принимает мер-то! Ну, есть у тебя что на памяти твоей хваленой на этот счет?

— Господь долготерпелив и многомилостив, прощает беззакония и преступления, но не оставляет без наказания... Так говорит Библия. Бывает, что Бог наказывает беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода.

— Ну, столько-то ждать мне не с руки, — начальник прищурился, нетерпеливо поглядывая на часы. — Значит, накажет, говоришь? Ну-ну, твоими бы устами, как 131

— С кем?

— Ну, не со мной же!

— А, ну так когда мне отправляться?

— Ишь ты, быстрый какой! Отправля-яться... Ты, брат, сначала все свое хозяйство передать должен по описи. Может, уворовал что, а?

— Обижаете, гражданин начальник.

— Да шучу, конечно, шучу. Мне бы где еще одного такого, как ты найти, вот в чем вопрос.

В кабинет вошел надзиратель и чуть заметно кивнул головой. Кожин тут же подошел к Адаму и как бы невзначай бросил на него взгляд.

— Постой, постой! Что это? — он легонько взял Адама за плечи, заглядывая ему в глаза. — Ну-ка, ну-ка, ты чего это желтый весь? Якименко, ну-ка, посмотри. Желтый?

— Так точно, товарищ майор, желтее не бывает.

— А ну, доктора сюда, быстро!

— Он аккурат здесь. Пришел чегой-то просить.

— Ну, вот ты его и проси сюда.

Доктора Адам знал неплохо. Добросердечный, высокообразованный зэк из евреев, он всех своих пациентов называл на «вы», и при всей скудости лекарств ухитрялся ставить на ноги даже тяжелобольных. В его честности Адам не сомневался, поэтому с тревогой ожидал диагноза. С утра его действительно что-то знобило.

132 — Здравствуй, дорогой, — приветствовал доктора Кожин. — Ну-ка, осмотри вот этого субчика. Что-то мне подозрительна его физиономия, а надо отправлять мужика на этап. Как бы потом казус не вышел.

Доктор усадил Адама на стул, завернул поочередно веки, повернулся к начальнику.

— Нужно срочно изолировать и провести анализ. Если подтвердится мое предположение — гепатит. Ну, желтуха, то есть. — И Адаму. — Температура была? Знобило? Давайте, батенька, не терять времени. Сразу же в лазарет.

Когда за ними закрылась дверь, Кожин выжидательно посмотрел на Якименко. Тот вытянулся в струнку.

— Все в порядке, товарищ майор. Письмо на месте. Только что получили подтверждение.

— Про то, что богом себя называет, описали? Точно? — Кожин устало опустился на стул и пробормотал: — Нет, уважаемый господин, он же зэк, Штресслер. Может быть твой Бог, которого нету, и спохватится когда-нибудь, и накажет грешника. Да только мы другого придерживаться приучены: на Бога надейся, а сам не плошай. Так-то оно надежнее будет.

Если бы я сидел сложа руки и ждал, пока твой Бог всех врагов моих накажет, да-авно бы ляжку вместе с тобой тянул. «Возлюби ближнего как самого себя» — сей постулат изжил себя и просто смешон в нашей новой жизни. Нам все ближе и ближе другой, более реалистичный: человек человеку — волк! Кто из нас опередил другого, вот в чем вопрос.

В тот же день за Бешенковым приехали из центра. Только и видели зэки, как его без портупей, кобуры и ремня на поясе — арестован, стало быть! — затолкали в автозак и увезли. Что с ним дальше случилось — неизвестно: во всяком случае, в этих краях его больше не видели. Адам же попал в санчасть, где его вполне реально подлечили. От вполне реальной болезни. Как сказал доктор, немаловажно то, что он вовремя обратился и не успел запустить болезнь. Может быть и так: только сам Адам на болезнь не жаловался и ни к кому с ней не обращался. И благодарил Бога, что Он предусмотрел и это в его жизни. Суходом кума, по-видимому, забылось

его дело и, выписавшись из санчасти, он продолжил работать в паре с Левкой Чумилиным. С Яковом они виделись только изредка, а в мае и вообще разбросало их по разным местам. Якова с бригадой услали в верховья Сухоны, где работы для них было настолько невпроворот, что в зоне их больше и не видели.

Промелькнуло короткое северное лето и столь же недолгая осень, и всю уже завели свою занудную песнь ноябрьские метели. Для кого-то, может быть, и промелькнули, а вот для Якова эти месяцы стали тяжелым испытанием. И виной тому были те зароненные в душу слова Прокопчука об амнистии. Они как бы вышибли его из привычной колеи, и он долгое время ходил сам не свой. Наверное, он совершил ошибку: верный своему обещанию не поделился новостью даже с Адамом, еще будучи в зоне. Впрочем, если бы и захотел, то вряд ли это удалось ему сделать, так как поговорить наедине с Адамом уже не представлялось возможным: он постоянно был с Левкой. И на работе, и после работы. Это вызывало у Якова некоторую ревность, хотя признаться себе в этом он не хотел. Да, в общем-то и не до того было: его охватило несвойственное ему нетерпение, и он буквально каждое утро ждал приказа об освобождении. Вот-вот придут и объявят: «Габт, иди оформляться на волю!» Не сегодня, так завтра.

И опять — вот, завтра. Даже друзья по работе удивлялись его такому возбужденному состоянию. Так ведь немудрено: поверил-то он в это безоговорочно. Как бы

ни был тверд человек духом и телом, а такая ситуация изматывает его своей неопределенностью. Ах, как велико бывает желание сменить категорию призрачной надежды на уверенность. А когда шансы на это тают, делается человек опустошенным.

Месяца два подряд, изо дня в день, жил такой надеждой Яков и на сто рядов распланировал уже свою будущую жизнь. Здесь было все: и встреча с семьей и друзьями, и работа, и строительство нового дома. Обязательно с садом. И чтобы по всему саду — цветы. О, это ж в первую очередь! Их так любит Варвара. Потом вдруг вспомнил, что в этом своем ожидании не оставил места... для мести. И — сник. Враз обрубило все мечты, и сменились они удивлением: с чего бы это он так поверил Прокопчуку? Какая может быть амнистия? Да никакой амнистии не будет, ибо сидеть-то ему еще пять лет! Так что мечтать о воле — себе дороже. Не-ет, мирная жизнь с цветочками не для него. Пусть простит Варвара, но если даже освободят досрочно, сначала сведет он счеты с Козловым. А уж там, куда кривая вывезет. Вот только дожить бы. И, стиснув зубы, обещал самому себе: «Доживу!». И всякий раз радовался явившейся злости: «Вот так-то нам и жить легче. Главное, не заблудилась бы цель. Чтобы всегда на памяти была, и не дала бы расслабиться.» Уже не вспоминал он больше тех стихов о любви. Что к близнему, что к врагу. Некому было подсказать ему притчу о сеятеле.

И замкнулся душой пуще прежнего. А когда совсем успокоился и перестал ждать, тогда и случилась та вестъ. «В связи с отсутствием состава преступления...». За день до своего освобождения Яков снова появился в зоне. Выдавая документы, молоденький писарь подмигнул ему и, сделав вид, что нарушает процедуру, как бы украдкой сунул пачку писем. Их было пять: по одному на каждый год, и все они были от Варвары. На двух последних адрес был новым: Казахстан, Кустанайская область. Вот в этот самый Казахстан, к своей семье ему и предписывалось ехать на постоянное местожительство. Один только Адам и проводил его. А Левки там уже не было, так как работал он уже самостоятельно на других объектах.

Глава 16

Встреча

Протяжный гудок приближающегося к станции паровоза прервал воспоминания Якова, и вскоре мимо вокзала медленно прогромыхал товарный состав, сердито отстукивая колесами. Паровоз обдал перрон молочным паром и, уже миновав станцию, новым то-скующим гудком попрощался с ней и дробнее застучал в заведомо проигрышной гонке за временем. 137

Тут же в зал, пропустив вперед себя клубы морозного пара, вошел высокий мужчина в заиндевевшем ватнике непонятного цвета и такой же, нахлобученной по самые брови шапке с завязанными у подбородка тесемками. Низ лица по самый нос скрывал намотанный на шею шарф, а сам он как-то неловко сутулился. На ногах у него были пимы огромного размера.

«Знатно, видать, приспичило, что в такую стужу на товарняке катил! — уважительно подумал Яков, пытаясь разглядеть мужика. Что-то знакомое почудилось ему в нем. — Не каждый на это сподобится».

Мужик же, оглядевшись, молча прошел в дальний

угол зала и сел на другой лавке спиной к Якову. Скинув шапку и шарф, оказавшийся грязным полотенцем, он вдруг зашелся долгим, глухим и удушливым кашлем; потом, когда приступ прошел, уткнулся лицом в ладони и стал плавно раскачиваться, будто баюкал ребенка. Что это такой же, как и он, освободившийся зэк, не было никакого сомнения. Но в его согбенной фигуре было столько отчаяния, что Яков невольно присел напротив.

— Что, друг, совсем плохо дело?

Мужчина отнял руки от лица и Яков весь так и подался вперед.

— Аркадий? Вы?

Мужик безразлично скользнул по нему взглядом и

138 — отвел глаза.

— Вы меня не помните? Я с Адамом бывал у Вас. На третьем.

Теперь в глазах мужика промелькнуло что-то наподобие интереса. Видимо, память выхватила из своих запасников эпизод их знакомства.

— Геракл! — улыбнулся он одними уголками рта и наморщил лоб, вспоминая имя. — Как же тебя? Кажется, Яша — нет?

Яков кивнул. Улыбка Сломского была настолько жалкой, что у него защемило сердце. Этот образованный зэк всегда ассоциировался у него с силой и отвагой. И это так не вязалось с тем, что он видел сейчас.

— Вам плохо? — снова спросил он. — Вас не узнать.

Но Сломский, видимо, уже не слышал его, а тот блеснувший на мгновение огонек в глазах потух.

— Они сломали меня, — пожаловался он в пустоту, ни к кому не обращаясь. И тише повторил. — Сломали.

— Но Вы же освободились? — робко напомнил Яков. — Вы — на свободе!

— Что толку, брат, от широты мира, если жмет ногу собственный башмак! — так же безучастно проронил Сломский, растирая руками грудь. — Я уже не жилец на этом свете. Штрафzona доконала меня. Ты там был?

— Бог миловал, — содрогнулся Яков от одного лишь упоминания этого заведения.

— Бог? — встрепенулся Аркадий и видно было, что память снова ворачивает ему какое-то приятное время. Даже лицо его просветлело. — Ну, да, Бог. «В Нем спасение»: так, кажется, говорил твой друг Андрей, — медленно выуживал он из памяти слышанные когда-то слова. И, оглянувшись, понизил голос, словно боясь, что кто-то подслушает их. — Он был прав тогда. Мне не нужен был Бог, потому что я был сильным. Теперь я слаб и Он мне нужен!

— Вы стали верующим? — изумился Яков. — Вы?

— Я этого не могу еще сказать. Одно могу сказать точно: мне нужен Бог. Пока не знаю — зачем. Слушай, Яша, — потер он рукой лоб, стараясь что-то вспомнить, — я определенно что-то хотел сказать тебе. Нет, не могу вспомнить. Может, это не тебе, а твоему другу. Нет, вылетело из головы. Непорядок у меня с ней. И

с памятью нелады. Кстати, а где он сейчас, друг твой?

— Все там же, в зоне. Вот это мне и непонятно: если Бог есть, то должен бы ему первому помочь выйти из этого ада. А вышел я. Оно, конечно, я рад, да только... В общем, непонятно мне это.

— А сам Андрей тебе что-нибудь об этом говорил? — оживился Сломский. — Ну, что свобода тебе?

— Говорил.

— Ну? — собеседник с явным интересом ждал ответа. — Не завидовал?

— Да не-ет, совсем наоборот. Вы можете мне не поверить, но моей свободе он радовался больше меня. Как-то он так мудро сказал, что, мол... — Яков напряг память, — пути людские это не пути Бога. У Бога, мол, на все есть Свой план и Ему видней кого освобождать, а кого оставлять здесь на служении. А я все думаю: кому служить? Уркам? Он все больше об них и печется. Боюсь, как бы они за его же добро самого и не прикончили.

— Вот-вот, и я был в том же сомнении, — Сломский доверительно склонился к Якову. — Ты ведь должен знать, что я как мог помогал людям: даже завышал иногда показатели, чтобы спасти совсем ослабших, защищал их от уголовников. Но когда «куму» потребовалось отправить меня в штрафлагерь, почти все они стали свидетелями против меня. Тогда и я озлобился на всех. Постулат: «Не делай людям добра — не проживешь зла!» — стал моим кредо, и злость на всех и вся стала моей неотъемлемой частью. В той зоне мне удалось по-

читать Евангелие и я с идиотским злорадством увидел, что Христа предали на распятие те, кому Он помогал, кого спасал и излечивал. А кто совсем недавно стелил Ему под ноги свою одежду, теперь громче всех требовал Его распятия. И я нисколько этому не удивлялся, а только сравнивал себя с Ним, что, мол, так и должно было быть: потому что... ну, не делай людям добра, да? И вот здесь-то, по всем правилам нашего земного жития должно было последовать отмщение. Я его ждал, я его жаждал. Ведь Он — Сын Бога! Он мог с ними сделать все, что захотел бы. Но Он не захотел. То, что Он сказал с креста перевернуло все мои прежние представления о нравственности. Потому что простить причинившему тебе зло — это выше моего понимания. Было — выше.

Перед освобождением я снова встретил того самого ээка, который давал мне Евангелие, и он посоветовал мне сделать то же самое: то есть, перестать сжигать себя злобой и простить всем. И самому просить прощения у Христа. Недавно я попробовал. Не знаю, вышло ли что-нибудь, но впервые в жизни я плакал. Не от бессилия, обиды или злости, а от какой-то неземной радости. Только вот делиться с кем-то этой радостью я пока остерегаюсь. Кто поймет? Разве, что ты, Яков, а? Не зря же мы тут с тобой встретились. Ты много был рядом с Андреем, ты должен понять, что я имею в виду.

— Я понимаю. И со мной бывало такое, — расчувствовался Яков. — Только словами это сказать мне не под силу, грамоты маловато.

— Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает, а объяснить и я не смогу. Главное, мы оба — ты и я — понимаем о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам в чем тут дело. Жаль, он не с нами.

— Он объяснял, — сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. — Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне.

— Да-да, я помню твою историю, — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. — Вспомнил! Вспомнил, что хотел тебе сказать. Слушай...

Закончить он не успел. Из дверей кассы вылетел взъерошенный Федька, в расстегнутой гимнастерке и красным, как у рака, лицом.

— Дура, — крикнул он, обернувшись, и прошмыгнул к бачку с водой. При этом не увидел, как вслед ему полетела его портупея и плюхнулась на лавку рядом со Сломским. Тот мгновенно запихнул кобуру под ватник.

— Шуток не понимаешь! — еще раз выкрикнул сержант, оставив кружку. Потом сердито уставился на собеседника Якова с явным намерением сорвать на нем зло. — А этот еще откуда? Ну-ка, предъяви документы. Кто такой?

При первом же окрике трое потенциальных пассажиров: два мужика и баба — мигом выскочили из зала. Следом за ними из кассы выпорхнула и женщина-железнодорожник: от расходившегося энкавэдэшника добра не жди. По праву, не по праву прикопался он к человеку — значения не имеет. А своя рубашка — она ближе к телу.

Сломский резко, словно от удара, выпрямился и вся его левая щека от уголка рта до глаза импульсивно задергалась. Не сводя глаз с Федыки, он медленно полез в карман ватника за документами. И вдруг согнулся, и сотрясаясь всем телом, зашелся в душливом кашле.

Это еще больше озлило сержанта и он, не дожидаясь окончания приступа, с силой толкнул Сломского в плечо. Тот, захватившись за грудь руками, беспомощно повалился на лавку.

— Ах, ты, мизгирь! — побагровел Яков и, поймав Федыку за шиворот, приподнял его от пола. — Не видишь, он больной! Я не посмотрю, что ты мой конвойный: так отделаю — родная мать не узнает! Понял?

— Понял, Габт, понял, — прохрипел Федыка, вращая выпученными от страха глазами. — Пусти.

— Повтори, — приказал Яков, — или я сейчас сделаю тебя негодным для службы.

— Да понял, понял, — голос Федыки оставался хриплым от того, что горло сдавило воротом гимнастерки.

— Отпусти его, Яша, — услышали они голос Сломского. — Пошутил он. Забыл, что мы уже на свободе, вот и пошутил. Он же знает, что если теперь вернется в зону, то пойдет вместе с тобой на нары. Тебе-то к ним не привыкать. А ему? А, сержант, хочешь на нары? За служебное несоответствие?

Яков отпустил конвойного, и тот, ошарашенный таким поворотом дела, тупо вращал глазами и потирал горло.

— Какое несоответствие, — все еще ничего не соображая, но уже без того страха, промямлил он. И смолк. Теперь уже в неподдельной панике, так как увидел в руках Сломского расстегнутую кобуру с торчащей из нее рукояткой нагана. Яков также опешил: он не видел, как она попала к Сломскому. Сержант инстинктивно схватился рукой за пояс, где должна была быть его собственная — нету! Все внутри его оборвалось, и в захлестнувшем душу отчаянии он оглянулся в поисках помощи. У дверей кассы стояла кассирша — его несостоявшаяся любовь. Выпивал-то он с той, другой, но глаз все это время не сводил с нее. И сейчас, даже в этом своем шоковом состоянии он успел отметить, как она хороша собой. Русоволосая, с толстой длинной косой, ниспадающей на грудь с правого плеча, она стояла в каком-то оцепенении, не сводя со Сломского широко раскрытых глаз. Федька понял так, что опасность грозит и ей. И виноват в этом он, ухажер несчастный.

144

Тут он ошибался. Просто она в испуге встретилась глазами с тем, кто спрятал портупею. Встретилась, да так и приросла к полу, словно ее очаровал этот зэк. Ну, что ж: можно было подумать и так. Ведь даже в этой неказистой зэковской одежде он выглядел весьма привлекательно: этакий мужественный седовласый интеллигент. И только болезненный, изжелта цвет лица ясно свидетельствовал, кто он есть на самом деле. Но в ее взгляде было что-то другое, и Федька это увидел. Теперь он испугался и за нее, и затравленно заози-

рался по сторонам. Как ее защитить? От кого ждать помощи? И уже, было, сделал шаг в сторону девушки с твердым намерением спасти ее, когда до него донесся голос Сломского.

— Ладно, не дрейфь, парень, держи свою пукалку, — голос чуть насмешливый, но без издевки. — Думаю, что тебе самому не резон с нами ссориться. Чай, надоело на вышках торчать! А тут такая командировка, а? Отдохнешь хоть от жизни собачьей. Так, нет?

Федька, не веря своим ушам, согласно кивнул и судорожно сглотнул слюну. И кобуру принял, не сводя глаз с кассирши. Теперь и Сломский обратил на нее внимание. Она смотрела на него во все глаза, по-детски прикусив пальцы обеих рук. Сами же глаза были полны слез, и они градом катились по щекам.

— Что с тобой, дочка, — участливо спросил он. — Что стряслось!

— Вы... Ваша фамилия... Вы — Сломский?

— Да, — он внимательно всмотрелся в нее и голос его дрогнул. — Откуда ты меня знаешь?

— Я — Аня, — сказала она. И тихо добавила: — Аня Сломская.

Аркадий так весь и обмяк. Какие-то доли секунды понадобились ему, чтобы увидеть в этой девушке столь родные черты, стершиеся в памяти за долгие годы. В следующий миг он подался вперед и уже тянул к ней руки.

— Доченька! — только и успел вымолвить, и вновь

скрутило его в удушающем приступе. Он припал на лавку, держась одной рукой за грудь, другую, осыпая поцелуями, не отпускала упавшая перед ним на колени дочь.

— Папа, папочка, — сквозь слезы повторяла она. — Мама вымолила тебя у Бога. Она здесь, со мною. Она очень больна. Но теперь выздоровеет. Вы оба выздоровеете, выздоровеете...

«Выздоровеете», — жизнеутверждающим рефреном звучали ее слова в зале.

Пораженные Яков с Федькой напрочь забыли о своей стычке. Они стали невольными свидетелями самого настоящего чуда: встречи отца с дочерью. Что это просто невозможно, для них, таких разных и по возрасту, и по положению — зэк и конвоир! — было ясно как дважды два. Вот так найти друг друга на бескрайних просторах такой огромной страны — немислимо. Кто помог им в этом? И душу каждого из них окутывал благоговейный трепет: ответ, как те же дважды два, вырисовывался сам собой — это Божий промысел! Это — Бог! Казалось, даже время в этом убогом вокзальчике остановилось в безмолвном благоговении перед Ним. И все то же мерное бульканье падающих капель только усиливало таинство момента. После минутного замешательства оба засуетились вокруг Аркадия: расстегнули ватник, и когда удушье прошло, уложили на лавку. Аня прибежала с кружкой горячего чая и осторожно отпаивала отца. Живительная

влага подействовала, и на щеках его проступил бледный румянец. Силы постепенно возвращались к нему. Наконец, он мягко отвел от себя ее руку с кружкой и она прильнула к его груди.

— Как же ты узнала меня, Анечка, — прошептал он. — Тебе ж три только и было в том году?

— Четыре, — счастливо улыбаясь, поправила она. — Дедушка Семен, твой отец, еще полгода назад жил здесь с нами. Лежи, лежи, — упредила она попытавшегося приподняться отца. — Дедушка еще жив. А вы с ним на одно лицо. Даже голос одинаковый. Я так сначала и подумала — он вернулся. Как тут не узнать... Да и фотографии твои всегда висели у нас на стене. А одна, самая большая и теперь с нами. Единственная, которую мама смогла сохранить, когда нас выселяли из дома сюда. Мы здесь уже шестой год. На вольном поселении. А куда ты ехал?

— Пока до Вологды, потом стал бы вас разыскивать. Хотя смутно представлял с чего начинать. Поезда ждать не стал: я и минуты лишней не мог там оставаться, а его надо было чуть ли не сутки ждать! Тут товарняк погодился. И тормозная площадка защищенная. Поехал. А вот тут будто столкнул кто с вагона, — Аркадий прижал Аню к себе. — Мне кажется, я даже голос такой слышал: «Сойди!» Как приказ!

— Бог это, — радостно заплакала Аня. — Это Он маму услышал.

— И совсем-то, вроде бы еще не замерз, а послу-

шался, — продолжал как бы сам с собой рассуждать Аркадий. — На ходу прыгнул. — И вдруг, осознав что-то, простонал: — Боже мой, это же вовек бы не нашел потом вас... Разве ж могло придти в голову, что вы совсем рядом! — И уже совсем жалобно. — Где же мама, доченька?

Этот его жалобный вскрик вывел Аню из состояния бездействия.

— Да-да, щас же идем к ней, — заторопилась она и тут же спохватилась. — Сменщица придет только через час, вдруг кто-то зайдет. — Она встретила глазами с Федором.

— Иди, иди, не волнуйся, — виновато улыбнулся он. — Дело у вас такое. Я тут все объясню, если что.

148 То есть, мы вот объясним, — торопливо поправился, указывая на Якова.

— Правда! — обрадовалась Аня. — А если мой начальник? Строгий он.

— Так и я строгий, — шутливо приосанился сержант. — Идите. Все будет в ажуре. И... это.. не сердись на меня, ладно? И Вы меня простите, — обратился уже к Сломскому. — Я когда вернусь, зайду к Вам. Можно?

Тот подал ему руку и сержант крепко пожал ее.

Уже распрощавшись, Аркадий остановился в дверях вокзальчика.

— Яша! Я ведь разузнал о твоём опере Козлове. Не майся душой, пустили его в расход ещё в 37-ом. Так что и тут прав оказался твой Андрей. Не надо тебе грех на

душу брать. А вести этой можешь верить: я с одним из его сослуживцев в штрафной лямку тянул. Он-то, в отличие от Козлова, червонцем отделался, да только исход один: уже на втором году отсидки в ящик сыграл. Закалка жидковатой оказалась. У нас покрепче вышла. Ну, оставайся с Богом.

Взволнованный Яков неотрывно смотрел на него. Мимолетность этой встречи вместила в себя столько, сколько не произошло за пять лет пребывания в зоне. Сразу две встречи, два события, о каких не можно было и мечтать. Искренняя радость за неожиданный поворот в судьбе такого же, как и он, зэка, и... необычайно светлая грусть расставания. Ведь напутствие из его уст — с Богом! — еще какой-то час назад Яков принял бы за обычную, присущую Сломскому, ироничную насмешку.

Теперь это прозвучало так естественно. Как же все перевернулось! И эта весть... О его враге. На какое-то мгновение она выхолостила душу и породила боль бессилия: не сбудется его самое заветное желание — мсть! Ждать столько лет, жаждать и — не свершиться! Но тут же и оттаяла душа, будто только и ждала этой вести. Поразительно четко осознал он вдруг, сколь навредил себе этой навязчивой идеей мщения. В памяти тут же всплыл и застучал рефреном, так часто слышанный от Адама стих: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.» Ах, какое бесчисленное количество раз увещевал он Якова этими

словами. И только вот сейчас он словно прозрел, и в душе оказалось столько места для любви. Ко всем. К своей семье, к Адаму, Сломскому, Ане и ... даже вот к этому его конвойному, Федору. «Не мстите за себя, возлюбленные...».

Яков медленно опустился на колени, облокотился на лавку и закрыл лицо руками... Эти слова наполнили его светлой признательностью Тому, от Кого он столь долго прятал свои чувства.

«Так вот оно какое, Божье благословение!» — в благоговении шептал он, забыв обо всем на свете. Потом приподнялся на лавку, и долго сидел так, в полной отрешенности от мира.

В зал вернулись пассажиры, сбежавшие в самом начале Федькиных угроз — подальше от греха! Прознав от подруги Ани ситуацию, они осмелели и стали расспрашивать Федора о житье-бытье. Тихо и монотонно доносились до Якова их голоса. Он даже не заметил возвращения Ани, и очнулся лишь тогда, когда почувствовал на плече руку Федора.

— Вставай дядя, поезд на подходе.



Часть вторая

«Вышел сеятель сеять... и когда он сеял, иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло... А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; Но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется».

Глава 1

Домой

152

М был поезд, и был дальний путь. Шестнадцать суток с многочисленными пересадками понадобилось для того, чтобы прибыть на нужную станцию в Кустанайской области Казахстана. Захватывающая дух в самом своем начале поездка эта к концу превратилась в сплошной кошмар для Якова. Если во время пути по России никто, или почти никто, не обращал особого внимания на эту неразлучную пару пассажиров, — сплошь да рядом освободившихся зэков сопровождали конвоиры — то ближе к Казахстану в поведении попутчиков ощутил он явную настороженность. Большинство из них сторонилось этой пары и в разговор вступали с явной неохотой. Если вообще вступали. И кто был больше тому виной: Яков или его конвоир — было совершенно неясно. Да еще станция прибытия по какой-то иронии судьбы называлась Архангельская. Вроде как и не уезжал он никуда с севера. Здесь сержант сдал его местной милиции, отметил командировку и отбыл в обратном направлении. Так они и расстались: не сказать, чтобы хорошими друзьями, но уж

никак и не врагами. Так, как расстанутся сдружившиеся в долгом пути случайные попутчики.

В милиции ему посоветовали дожидаться какой-нибудь попутной подводы, потому что до деревни, где проживала теперь его Варя с дочкой, было не меньше тридцати километров. Ну, столько-то пути его не очень-то напугало, да и где ее возьмешь, подводу эту. Не стал Яков ждать: подспудно старался он побыстрее удалиться от людей в погонах. А на этой станции их прямо, как в инкубаторе цыплят — ну, на каждом шагу погоны. Надо же, все как там, на севере! Так ведь и станция — Архангельская! Вскинул он вещмешок на плечи и споро зашагал по указанной проселочной дороге. На ней, еще не совсем просохшей от весенних дождей, тут и там по выбоинам мирно нежились в солнечных лучах неглубокие продольные лывы, и слепили глаза отражавшимися в них яркими бликами. Сразу вспомнилось, как в детстве, задрав штаны, гоняли они с Фридрихом по таким же вот лывам в своей деревне. Память детства так захватила его, что он едва сдержался, чтобы не разуться и не пробежаться по ним босиком. Не прошел он и километра, как нагнал его на телеге бравый мужик с черной, как смоль, бородой. Поравнявшись, тот остановил коня, спросил приветливо.

— Куда путь держишь, земляк? Ты, я вижу, не из наших краев будешь.

— Не из ваших, — согласился Яков. — С севера я. С крайнего.

— Оно и видно по одежке-то. Да ты садись. Куда бы ни шел, а до перепутья дорога одна. А там уж куда свернуть. Не в Александровку ли?

— Туда, — обрадовался Яков.

— Ну, вот, прямо в яблочко, — похоже, больше его обрадовался и возчик. — И я туда. Председатель колхоза я тамошний, Павел Грохотко.

— Дак подвезешь тогда?

— Сказал же, садись, — жестом пригласил Павел и когда попутчик примостился, свесив ноги с телеги, спросил. — Как звать-величать?

— Яков я. Яков Габт.

— Габт! — всем корпусом развернулся к нему Павел, и даже оставил вожжи. — Да уж не к Варваре ли ты едешь? Дочка у нее — Кристина?

— К ней, — почему-то заволновался Яков. — Жена моя. И дочка.

— Ну, вот и славно, — потер руки председатель. — Это очень даже славно. Мужиков-то у нас в колхозе маловато. Если не сказать, что почти совсем нету.

— Да они-то сами как? — перебил Яков. — Живы-здоровы?

— Ну, а чего ж им делается, — вроде как удивился Павел, — и живы, и здоровы. Недавно вон из землянки в более-менее жилую халупу с окнами перебрались. Люба, тетка ее, померла, вот они и перебрались к ней. Мать? Ну, так мать-то сразу здесь Бог прибрал. Она уж тяжело больной была как приехали сюда. Месяца

два от силы и пожила. Сильно тяжелая была. Да в те два-три года много людей померло. Ровно мор какой нашел на человека. — Павел спохватился и настороженно-вопросительно обернулся к Якову.

— Все путем, Павел, — понимающе кивнул тот. — Говори смело.

— Да я так и думаю, что на тебя можно положиться: мужик ты бывалый; всего насмотрелся. А Варвара твоя дояркой работает, так что аккурат ее дома сейчас захватишь. Дочка тоже, наверное, уже из школы пришла. Все у них путем, как ты говоришь. Ну, да сам увидишь. — И, немного помолчав, продолжил о своем. — Я так думаю, что ты и профессию какую имеешь? Ты же вроде как мосты строил? Да не смущайся, я о своих колхозниках все знаю. Даже знаю, что тебе и срок еще не вышел. Стало быть, оправдали? Или как?

— Оправдали, — вздохнул Яков.

— Да-а, щас многих оправдывают, — кивнул Павел. — Сперва посадят человека, потом разбираются. Все не как у людей. Ну, не буду тебе душу расспросами травить. Что было, то былъем поросло. Давай лучше о будущем поговорим, да прикинем, как обустроиваться будешь. Ты же у нас останешься? Или есть уже что на уме? А то оставайся. Поможем на первых порах, а там уже и сам поднимешься. Как?

— Ясное дело, останусь. Даже если бы ты и не приглашал. Моего согласия на это последние годы не спрашивают. Живи, куда прикрепят.

— Ну, это прикрепление для нас ничего не значит. У нас тебе понравится. Водной нашей области несколько западных стран уместится, — успокоил председатель. — Вон, смотри, у нас ширь какая, — повел он рукой, как бы приглашая оценить всю необъятность степи. — Куда еще хотеть ехать? Гуляй — не хочу!

В неторопливой, обстоятельной беседе путь всегда кажется короче. Незаметно пролетело время, и Павел, уже заехав в село, остановил лошадь у приземистой избушки-развалюшки без ограды.

— Варвара! — зычно крикнул он. — Принимай гостя.

А она уже увидела их в окошко и зашлось сердце в догадке. «Яша! Да нет, не время ему еще. Похожий кто-то.» Но когда тот мужик соскочил с телеги и стал прощаться с председателем, охнула, всплеснув руками, и вскрикнула сдавленно дочери: «Криста, там папа приехал!» — И спотыкаясь, падая, и снова поднимаясь, поспешила на дорогу. Добежала да так и упала в руки мужа. А рядом уже в нетерпении прыгала с ноги на ногу дочка Кристина, несмело теребя его за рукав.

Павел, уже немного отъехав, обернулся.

— Варя, с недельку пусть отдохнет мужик, а там и приходите ко мне в правление. Устраивать будем гостя. — И добродушно проворчал. — Да что ж вы его на улице держите! Ведите домой. Устал, поди...

Долго отсиживаться Яков не стал: истосковались руки по настоящей работе, а ее в колхозе всегда непочатый край. И сразу одолела его иллюзия, что если хорошо трудиться

— можно что-то заработать и вытащить семью из нищеты. Ах, уж этот материальный стимул! Ничего, конечно, в этом плохого нет, если только он не подменяет (а часто и не заменяет!) собой духовного общения с Богом. Беда в том, что человек даже не понимает, что таким образом сатана пытается вернуть его к себе. Дьявол ведь спокойно взирал на Якова даже в то время, когда тот проходил через невероятные страдания в лагерях, но сохранял в себе чувство мести. Но стоило ему освободиться от этого чувства и потянуться к Богу, как тут же и спохватился враг душ человеческих. Увидев, что теряет своего раба, попытался наверстать упущенное соблазном богатства. А этот соблазн почище испытания страданием: наверное, это самое слабое место у человека — кому же не хочется жить в достатке? Но там, где на первом месте исключительно одно материальное благополучие — там нет места духовному развитию. «Никто не может служить двум господам: или одного возненавидит, а другого возлюбит; или к одному привяжется, а другим пренебрежет. Не можете Богу служить и богатству.» Это самое и произошло с Яковом: вытесненные житейской суетой, как-то незаметно ушли на второй план мысли о Боге. Он даже стал проявлять недовольство и хмуриться, когда кто-нибудь упоминал о Нем. Хмурился оттого, что подспудно догадывался о тщетности своих усилий. Помнил он слова Адама о том, что без Бога в душе невозможно устроить ни одно дело. Но остановиться уже не мог. Хоть и определили его для начала помощником

конюха, но поспевал он работать везде, куда его посылали, и где требовалась его помощь. А как только выдавалось свободное время, строил здесь же, на участке, свой новый дом: привозил ко двору глину и, добавляя соломы, месил все ногами в яме. Затем из этого раствора заготавливал саман. Не упускал случая и подработать у сельчан, чтобы на полученные деньги приобрести другие материалы. Варвара поначалу с радостью смотревшая на это его рвение, вскоре озаботилась, а потом и вовсе испугалась: ни о чем, кроме работы и строительства дома, Яков не думал. Если первое время не отходил от дочки, то теперь и ей почти не уделял внимания. Так, погладит проходя по головке — вот и все внимание. Он был просто одержим мечтой о доме и работал, не разгибая спины. От зари до зари, как говорят в народе. Ночи становились все короче, а его, похоже, это и радовало. Ухватит три-четыре часа сна — и доволен. И к середине лета уже перешли они в новый дом; небольшой, но аккуратный, не в пример прежней развалюхе. Даже глиняный пол в обеих комнатах застелили толем и покрасили. А это — уж извините — признак какого-никакого, а достатка. Только и на этом он не утомился, а все копошился во дворе: то стайку для приобретенной у колхоза коровы пристраивает, то загон для пары овец. И об одном лишь жалеет: день на убыль идет.

Всяких разговоров о годах каторжной своей жизни он избегал, тщетно стараясь изгладить их из памяти. И если по первости много рассказывал Варваре об Адаме, то теперь даже не упоминал о нем. И она понимала, что

его молчание и вся эта работа были не что иное, как защитная реакция на бередившие его душу воспоминания о лагере. Не раз она видела, как стоило ему чуть-чуть расслабиться, чтобы передохнуть, и сразу же надолго застывал он в отрешенной задумчивости, недвижно глядя в одну точку! Словно в калейдоскопе прокручивала его память одно за другим события-видения тех несправедливых лет; бывало, долго так сидит, не шелохнувшись, и вдруг в щемящем душу невольном тоскливом стоне закачается из стороны в сторону, ударит себя по коленям, вскочит с места и с утроенной энергией хватается за работу. Значит, высветился в памяти очередной лагерный эпизод. Ну, никак не идет лагерь из памяти. А главное, нашептывает ему кто-то, что вернется это время. Что не насовсем это его освобождение. И гложет душу предчувствие беды, но поделиться с Варей не может: второго ведь ребенка она ждет. Вот и надо ей хотя бы задел какой-то с ребяташками успеть оставить. Вот и рвет он жилы в работе: успеть, успеть. А то каково ей с двумя-то будет куковать.

— Не убивайся так, Яша, — просит Варя. — Все ведь уже в прошлом. — И нерешительно. — Может быть, помолиться Богу, все легче будет.

Варвара даже из тех немногословных рассказов об Адаме поняла, что это был за человек, и какое благотворное влияние он имел на Якова; поэтому при случае ненавязчиво пыталась напомнить мужу о Боге. Она даже достала из сундука старинную бабушкину иконку, которую ее родители хранили как семейную реликвию, и

поставила в углу комнаты. Незадолго до приезда Якова Варя познакомилась с женщиной, такой же как и сама, лишенкой, дочерью раскулаченных на Украине родителей. Сюда их выслали еще в начале тридцатых, но ближе познакомиться с Кларой Варя смогла лишь после смерти своей тети, поскольку та, равно как и большинство сельчан, всегда сторонилась этой верующей семьи. В те годы контакты с верующими могли обернуться большой бедой. Но Варя уже искала Бога, и как бы это ни было опасно, после первого же личного знакомства с Кларой тайком стала навещать их дом. Она еще не приняла Христа в свое сердце, сама не молилась, но с жадностью ловила каждое слово новой подруги о Нем. Жила Клара вместе с родителями, довольно пожилыми людьми, а работала зоотехником. Отцу было за семьдесят, мать на десять лет моложе, но и здесь в ссылке они обзавелись крепким хозяйством, и держались довольно независимо от властей. Чему способствовали и сами сельчане, поскольку не очень-то контактировали с ними. Ну, а раз нет контактов, то и привлекать их вроде как не за что. Никого никуда не агитируют, живут обособленно, чего еще бдительному оку начальства надо? Когда Варя только начала ходить к ним поздними вечерами, старики, посидев немного для приличия, тут же уходили спать. Битые и клятые жизнью, они ко всем посторонним, какой была для них и эта гостья, относились настороженно. Не такой была их дочь. Она была открытой для всех, и так быстро сходилась с незнакомыми людьми, что им казалось, они ее

давно знают. Случалось, конечно, это не часто, но если уж доводилось с кем-то разговориться, человек тот неизбежно попадал под ее обаяние. Во всяком случае так было с Варей. А что была одна, так она и открылась Варе, что муж ее такой же арестант, как и у нее. Сын бывшего владельца фабрики, а во время нэпа успешный предприниматель, или нэпман, как их называли, он был арестован перед самым их выселением с Украины. Где сидит, сколько ему дали, и живой ли он вообще, про то им тогда даже спрашивать запретили. Почувствовав родственную душу, Варя с нетерпением стала ждать каждой встречи с ней. Как-то Клара предложила ей помолиться Богу, чтобы Он помог освободить Якова. Дескать, ты-то хоть знаешь, что он жив. Варя немного растерялась: в комнате Клары не было видно ни иконы Божьей матери, ни даже крестика. Кому же она хочет молиться?

Клара поняла ее замешательство.

— Мы будем молиться Христу, Варя. Он везде и всегда рядом. Необязательно на иконе.

Тогда гостя только грустно улыбнулась и покачала головой.

— Если уж просить Христа, Клара, то о чем-то, что можно было бы исполнить. Зачем просить невозможное? Яша не отсидел еще и половины.

— Вот как раз для Христа-то и нет ничего невозможного, — возразила Клара. Она бережно раскрыла свою довольно ветхую Библию. — Смотри-ка, что Он Сам сказал: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас

согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Помолимся? — И видя нерешительность подруги, сказала. — Ну, хорошо, тогда слушай, а я буду молиться.

И Клара одна помолилась о Якове.

Случилось так, что на следующий день ее арестовали и увезли в район. Но поскольку ее стариков не трогали, можно было предположить, что она вернется. Однако шли дни, недели, а Клара так и не возвращалась. В чем можно было обвинять ее никто в селе не знал, но всякого рода слухов было полно. Вплоть до того, что добавляла, мол, в корм коровам какой-то порошок, чтобы молоко негодное было. Ну, так язык-то без костей, как однажды сформулировал свое мнение о слухах председатель колхоза. Работницей-то она была — какую еще поискать! Не было в селе больше такого грамотного специалиста. Но сути дела, почему, за какую провинность ее держали в тюрьме, не знал и он.

Ни пророчицей, ни ясновидящей она не была, но то, что случилось вскоре, вошло в душу Варвары как исполненное по ее молитве великое благоволение Божье. Неожиданное появление Якова было таким ошеломляющим чудом (а иначе это и не назовешь: освободиться на пять лет раньше — настоящее чудо!), что Варя уже безоговорочно поверила Богу. Сомнений, что это был ответ на молитву, в тот первый день ни у нее, ни у Якова не было; они оба в глубоком смирении благодарили Его, и будь тогда с ними Клара, они

бы непременно покаяться. А прошло время — и вот уже все воспринимается так, будто по-другому-то и не могло быть. Вот и Бог тут уже для Якова ни при чем. Вроде так оно и надо было. И у Вари рядом подруги нет, могущей ободрить, поэтому она так нерешительно и предлагает.

— Давай, Яша, помолимся Богу, Он и успокоит душу.

Но что-то случилось уже в той душе. Ушло то благо-словенное состояние, которое испытал он на заброшен-ной северной станции, где впервые в жизни обратился к Господу в молитве. Не подкрепил веру свою тогда непрерывными молитвами благодарности Богу: так и не помолился больше ни разу. Однажды возблагодарив Бога, подумал, что этого достаточно. И уже не хочет Яков к Богу. Не пускает его этот «кто-то», как и тогда, в том же лагере. А противостоять ему — сил нету. И мало-помалу опустошилась душа, приведя его к закономерному результату. Как сказано в Библии: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и убранным; Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого.» (Лк. 11:24–26).

Вот и для него это стало хуже: и пока маялся, подыскивая себе оправдание, не оставлял его сатана. А как нашел оправдание, да утихла со временем душевная боль, так тот и отступился. Зачем трогать раба, кото-

рый теперь доволен положением своим? У которого на уме лишь материальное благополучие? Тем более, что заданный Яковом самим себе рабочий ритм не только не сохранился, но и продолжает нарастать. И вот уже на следующее робкое замечание Варвары остепениться, чтобы дать место молитве, уже не нахмурился, как обычно, а равнодушно бросил:

— Что мне Богу молитвами надоедать, если жизнь налаживается? Это там, в лагере люди нуждаются в утешении свыше, а на что оно мне сейчас?

(Забыл, однако, мужик что когда-то говорил Адаму прямо противоположное, чтобы оправдать свое нежелание покориться Богу).

— Теперь, Варя, все отменя самого зависит, — добавил он уже не без гордости. — Молись — не молись, а «коли не потопаешь, так и не полопаешь». Хоть ты замолись тут. Через лень-то много не наживешь. А Богу я и в заключении старался хлопот не доставлять. В общем, Варя, если хочешь, молись, я не против. Только я погожу.

А однажды попросила она его узнать в районе о Кларе, раз уж он туда едет, и увидела вдруг, как изменился муж в лице. Впервые в жизни она видела в его глазах испуг. Он лишь на миг мелькнул беспокойной тенью, но она его уловила. Сам же Яков тяжело опустился на завалинку, и в который уж раз застыл, как изваяние. И она уже ругала себя за свою неосторожную просьбу. Она испугалась за его страх. Раньше она думала, даже была уверена, что ее мужу такое чувство неизвестно.

Он все же переборол этот страх, и узнал о Кларе через Павла. Тот Якову доверял и, оглядевшись по сторонам, понизил голос.

— «Шьют» ей религию, как дошло до меня. Только доказательств никаких вроде бы нет. Но не отпускают — это как пить дать. Найдут что-нибудь, чтобы посадить. Тебе о ней лучше никого больше не спрашивать. Да и Варе накажи, чтобы поменьше к ней ходила, если даже и отпускают.

Яков едва успел передать этот разговор Варваре, как тут и сам следователь из милиции заявился к ним в дом. Яков сразу невзлюбил его: улыбочивый такой хлюст, с едким колючим взглядом. На губах улыбка, а глазами буравит, будто сверлами. Ну, что, мол, Варвара, не видела ли ты случайно, Библию или какую другую книгу про Бога у своей подружки? Нам, мол, известно, что захаживала ты, любезная, к данным товарищам. Так вот, расскажи, о чем вы там беседы разговаривали. Он так и говорил: «беседы разговаривали».

Но Варвара не испугалась, наоборот: ответила спокойной и внятно, что никакой книги не видела; а разговоры вели — так что ж тут особого. У обоих мужья были в безвестности, почему бы не поделиться горем.

Следователь еще хотел что-то спросить, но тут встретился взглядом с Яковым и невольно вскочил с предложенной ему табуретки. Настолько тяжелым был взгляд хозяина дома, что он счел благоразумным побыстрее удалиться. О силе этого мужика по району

уже ходили слухи, особенно после того, как он один, удавкой накинув трос на грудь, вытянул из колеи увязшую в грязи по самые рессоры колхозную полуторку. Да и показалось ему, что «этот бугай» (так назовет он его потом) занес руку, чтобы схватить его за шиворот. Не сильно храбрым оказался дознаватель.

Но и Варе с Яковом это послужило предупреждением. Притаились оба, и с того дня имя Бога стало звучать в их доме все реже.

Не отпустили Клару. Посадили на три года за какой-то саботаж на работе. А какой — так никто толком и не понял. Надо было — и посадили. Вполне возможно, что для выполнения плана по посадкам человек за решетку. Был и такой план, как это ни покажется кому-то странным.

Незадолго до начала войны появилась у них на свет дочка Клара. Ну, ясно, что имя это дали в честь ее подруги. Так уж настояла Варя. Тут и вовсе заработался мужик. Ни одного вечера не пропустит, чтобы у кого-нибудь не подработать по найму. Да еще и сам председатель иногда посылал его работать за Тобол. Ну, это опять же когда с выгодой для колхоза, но где Яков и для себя мог «зашибить деньгу». И утих он только, когда пришла весть о войне. Да не утих — затих в тяжелом предчувствии. Понимал, что не обойдет она его стороной. Понимала это и Варя, и сушила сухари в дорогу. Несколько раз увозили его в район, но на фронт так и не взяли: то ли судимость не позволила, то ли и правда ходатайство

председателя помогло, поскольку совсем не оставалось мужиков в колхозе. По осени в район стали прибывать выселенные с разных концов страны семьи немцев, и от их рассказов предчувствие вселенской беды лишь усиливалось. Только семьи эти — одни матери с ребятней да стариками. Мужиков-то уже тогда «отсортировали».

А в начале февраля сорок второго забрали Якова в трудармию. Взял он на одну руку младшую дочурку, за другую ухватилась старшая, Кристина, да сбоку мать, всю дорогу не перестававшая молиться; так вот и дошагали до сборного пункта. Здесь Варя не стала больше замалчивать имя Бога; теперь у нее кроме Него, надежды ни на кого уже не осталось.

— Пусть Господь сбережет тебя, — шепчет она. — Пусть поможет тебе выдюжить. Пусть даст силы.

И уж в который раз противится Яков.

— Нет, Варя. Помочь могу себе только я сам. Бог тут ни при чем.

И снова застучали по рельсам колеса «стольпинских» вагонов, увозя его по той же дороге, только в обратном направлении: сначала через всю Курганщину, потом на самый север Свердловской области, аж за Ивдельлаг. От станции Полуночное в сорокаградусный мороз колонну трудармейцев под охраной привели к зоне, обнесенной колючей проволокой. По периметру, как и полагалось в самом демократическом государстве мира, и «где так вольно дышит человек», расположились вышки. Но не эта знакомая всем обыденная картина оказала гнетущее

впечатление на сознание вновь прибывших трудармейцев, а полуторка, выехавшая навстречу из ворот зоны, поверх бортов которой громоздилось какое-то странное сооружение. И только когда она проехала мимо, поняли, что это за диковина: машина была загружена окоченевшими голыми трупами первопроходцев трудармии. И холодок тени смертной, пересилив февральскую стужу, пробежал по их враз запотевшим спинам. Такого Яков не видел даже на Вологодчине: там хотя бы трупы не раздевали, а одетыми сваливали под яр.

«Не выбраться мне отсюда» — в щемящей тоске подумал, наверное, каждый из вновь прибывших. И был недалек от истины.

«Да, это почище, чем в лагере будет, — подумал и Яков. — И Бог здесь не помощник. Может быть, и есть Он на свете, но на меня, видать, это не распространяется. А то, зачем бы это Он меня — из огня да в полымя? Мало ли я натерпелся уже? Да что — я: вон сколько сгинувших за раз: так разве ж Бог бы допустил такое, если бы Он был? Разве все они пред Богом виноваты? Не-ет, здесь, видать, как и в лагере, своя правда. А Божья и не ночевала. Сколько же лет предстоит здесь провести? Выживу ли?»

И потянулись изнуряющие душу и тело каторжные дни всеми проклятой трудармии. Несть числа погибшим от голода трудармейцам...

Глава 2

Побег

Издали эту пару можно было принять за ягодников на раскинувшемся на несколько верст холмистом лугу. Хотя какая ягода может быть в июне месяце? А если бы и была, то собирали они ее как-то странно: один из них, большой и грузный мужик подолгу стоял на четвереньках, потом, не разгибаясь, медленно начинал движение вперед по направлению к лесу, до которого оставалось метров двести.

И тут же тот, что поменьше, как бы дурачась, катышком, переворачиваясь с боку на бок, следовал за ним по самой бровке долины. Чудная, в общем-то, картинка. Но это только издали — чудная. Если же приглядеться, то вовсе не из чудачества они это проделывали: просто эти два изможденных до самой невозможности мужика одинакового возраста, лет этак под сорок каждый, продвигались таким образом. На большее у них уже не было сил. Конечной, вожденной целью их путешествия на данный момент была опушка леса, к которой и примыкал тот луг.

— Ты, Альвин, не отставай, — приостановился и блеклым сильным голосом попросил большой. — До леса рукой подать.

— Да я бы разве отставал, — зашептал тот в оправдание. — Я бы шибче катился, ежли б глаза не застило. Глаза че-то застилает, Яша, и знобит, спасу нет. Чертово болото. Как меня туда угораздило? Не попал бы, так мы бы уж давно в лесу отдыхали. Из-за меня это все, Яша, из-за меня.

— Не говори так. Туман-то вон все еще как молоко парное. Не ты, так я бы угодил. А тогда уж точно не дошли бы. Разве ж ты осилил бы меня вытащить? — Яков сел, сунул руку за пазуху и вытащил бывшую когда-то белой, тряпицу: осторожно развернул ее на траве и разломил над ней черный и твердый, как камень, сухарь. Крошки сыпал на ладонь и отправил в рот, а один крохотный кусочек подал товарищу.

— Подержи во рту подольше. Может, полегчает. Только дольше держи.

— Ты бы себе оставил, Якобушка, — слабо запротестовал Альвин, но рука уже произвольно тянулась к хлебу. Он взял сухарик и прижал его обметанными распухшими губами.

Они с каким-то видимым удовольствием называли друг друга своими настоящими именами, растягивая звуки и испытывая от этого огромное наслаждение. В зоне-то по именам редко называют. Да и были они там Яшкой и Аликом.

Альвин долго перекатывал во рту отвердевший, пахнущий тряпкой, хлебушек. Через некоторое время на его лице появилось выражение блаженства. — Благодарю Тебя, Господи, что даешь нам такой вкусный да сытный хлеб! — не открывая глаз, тихо и отдельно ронял он слова, как бы выверяя каждое из них.

Яков, привыкший к причудам товарища — какой там хлеб, да еще и вкусный, когда полова одна! — все же ободрился.

— Никак полегчало? — с надеждой спросил он. — Может, тронемся?

— Так полегчало, однако. Тронемся, — отозвался Альвин и пополз-покатился вслед товарищу.

У первой же березки выпрямился, было, Яков, встал на ватные ноги, ухватившись за нижние ветви, да побежали круги перед глазами, заплясали радужными разводами. Следом кольнуло сердце и он неожиданно для самого себя качнулся и ахнулся на землю. Сидит в недоумении: эх, как крутануло да скукожило, что и опомниться не успел. Ощупывает себя Яков, ровно впервые в жизни сердце свое почуял. И заныло тоскливо внутри, что вот, мол, и я готовый. Теперь и Альвину не на кого надеяться. И слышит даже не шепот друга — шелест:

«Это пройдет, Яша, не сомневайся. От голода это. Еще притерпимся. А то может и попадет что. Поспешили мы с убогом, поспешили. Подольше надо было в зоне остаться. Пойди мы через какой месячишко —

совсем другой коленкор. В лесу бы ягода пошла — все легче бы было. А пока трава одна, да цвет.»

— Нет, — мотает головой Яков, — все правильно мы ушли. Не ушли бы — пропал я. С тоски пропал. Не знаю, как ты, а я точно пропал бы. Мне уж если че приспичит — ничем не выбьешь. А тут, глядишь, и выберемся.

— Дак это так, это так, — соглашается Альвин. — Только хворый я, негодный совсем. Может, это Господь уже зовет меня.

Якову упоминание о Боге, как ржавым гвоздем по железу.

— Опять ты со своим Богом, — недовольно ворчит он. — Неужели ж и теперь не ясно, что выдумка это одна? Вот молишься ты, молишься, а где помощь от Него? Нету. Где был, там и остался. Потому что «на Бога надейся, а сам не плошай»: это, брат, тоже умные люди придумали. Я вот что думаю: зря мы рыбаков испужались да от реки ушли. Может, чем бы подкрепились, не все люди — звери.

— То артельные были, Яша. Нельзя нам к артельным — выдадут сразу же. Где больше двух человек, там они себя больше боятся, чем нас с тобой. А здесь, я думал, на деревеньку какую-никакую набредем.

— Дак, а в деревне че, меньше двух людей, ли че ли?

— Деревенские не так властей боятся. А то и вовсе не боятся. Там ведь каждый друг дружку как облупленного знает. Во всяком случае, сразу не сдадут. Да и народ в

деревне другой, больше жалостливый, чем артельные. Те люди пришлые, все из разных мест, за свою шкуру боятся. Они как думают: если я не выдам, а напарник выдаст, то и меня загребут. За укрывательство. И сошлют туда, куда Макар телят не гонял.

— Ну, это да. Это везде теперь.

— Ты, Яша, если к деревне выйдешь, говори, что латыш, мол, с лесозаготовок. Вольный, мол. Немцев-то, сам знаешь, не больно жалуют.

— Да знаю, как не знать, — машинально повторил Яков и тут же встrepенулся. — Ты чего, Алик? Пошто это я один выйду? Я тебя не оставляю.

— Нет, брат. Ты меня здесь оставляй. Неживой я уже. Не дойдешь со мной.

— Дойду с тобой, нет ли, не знаю, а вот без тебя — 173
точно не дойду. Заблужусь я в тайге. Да и грудь что-то сильно ломит, дух аж захватывает. Видать, мы оба уже не жильцы.

— Ты тайги не бойся. Когда к ней с добром, она завсегда поможет и укроет. Господу надо помолиться, Яша. Его просить...

— Ты же вон молишься, а проку все нет, — слабо усмехнулся тот. — Да и не мне к Нему обращаться. Не в надежде я на Него. Подходил я к Нему, было дело, да отошел опосля. Вот Он — если Он есть — и спросит, что, мол, чего же это ты, друг ситцевый, раньше не обращался, когда здоровый был? Не-е, неладно это было бы с моей стороны. Не привык я душой кривить.

— А ты и не криви. Расскажи Ему все как есть, и чего ты хочешь...

— Кому? Он что, здесь рядом, ли че ли? Как это Он услышит? Да тут за сотню верст ни души...

— Он всегда рядом, Яков. Только Его принять надо. В сердце принять. И попросить, чтобы спас тебя.

— Слышал я уже все это, Алик. От Адама слышал. Только я и тогда в этом сомневался, и сейчас не сильно в это верю. Спасти себя могу только я сам, — тяжело вздохнул Яков. — Я всю свою жизнь надеялся только на себя.

— Я знаю, Яша. Но теперь я прошу тебя: помолись Богу. Я уверен, что Он нам поможет. Нам — понимаешь! Неужели ты думаешь, что мы с тобой вот так просто, случайно на лесоповале встретились? Неужели ты случайно спас меня от смерти верной?

— Нет, Альвин, это не случайно, не думаю я так. Я все себя об этом спрашиваю и гадаю.

— Вот. Ты гадаешь, а я уже давно знаю, что на то была Его Божья воля. Только я не торопил тебя к Нему идти, а теперь боюсь, что сильно я замедлил. Вот и прошу тебя помолиться. Может это моя последняя просьба, Яков. Ни о чем больше не прошу.

— Раз ты так хочешь, я попробую. Хорошо бы только, если бы видеть, кому молиться. Жена-то моя, Варвара, иногда на иконку молилась. И у мамы, помню, иконка была. А нам — на кого?

— Иконка, нам это необязательно, Яша. Христос в

сердце живым входит и остается там навсегда. — Альвину становилось трудно говорить, он часто хватал ртом воздух. — Есть стих такой в Библии: „Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною“. Понимаешь, о чем это?

Слушает Яков внимательно, головой покачивает.

— Больно мудро, Алик. В какие это такие двери? Кто стучит?

— Христос! Это Он к тебе стучит. Неужели не откроешь Ему?

Голос Альвина угасает и Якову становится невыносимо жаль его.

— Да как же это сделать-то, родимый?

— Я же сказал: помолиться.

— Так ты давай молись, а я за тобой повторять буду.

— Повторяй, Якобушка, повторяй. — И зашелестели адресованные Богу проникновенные слова, влетаясь в предрассветную музыку леса. Это набирала обороты мелодия лесной переклички — птичий гомон становился все звончее и разнообразнее. Сначала Яков машинально повторял слова вслед товарищу, потом вдруг какой-то неведомой болью осознал их щемящую мольбу, и голос его дрогнул и тут же приобрел жалостливые нотки, идущие из самой глубины души, и откуда-то взявшиеся слова воскресшей надежды помимо воли разбередили его душу. И уже не слыша Альвина, зашептал он собственные слова: слова, которые давным-давно носил в себе, но не

умел высказать. Да и не знал — кому. Случалось, что и сознательно прятал их на самые задворки души. Потом незаметно утих, утонул во внезапно охватившем его умилении и только чуть шевелил губами, устремившись в небеса невидящим взором. И уже не хотелось возвращаться из этой молитвы. Он даже не замечал слез, скатывавшихся по небритым щекам в густую всклокоченную бороду. Но заметил это Альвин и в счастливом умиротворении закрыл глаза. „Благодарю Тебя, Господи, что не оставляешь его Своей милостью...»

Глава 3

Альвин

Пять с лишним лет находились они в одном лагере, но близко сошлись совсем недавно, после случая с погрузкой кругляка на машины. Кругляк грузили крупный, у комля обхват больше метра. И вот закатывают трое рабочих очередное бревно на полуторку, как вдруг пошло на них сверху с кузова другое. Медленно так скользнуло по бревнам и пошло по наклонным лагам. Те двое мужиков, что по краям были, быстро отскочили в стороны. Альвин же, находясь посередине, убежать не успел. Бревно, которое они катили, остановилось, и уже давило на него всей своей тяжестью. Сколько было сил удерживал он его, мелко отступая назад, а тут уже шибче пошло и верхнее. И осталось бы от него мокрое место, не погодись поблизости Якова. В два прыжка очутился он рядом с Альвином, уперся в землю ногами и, весь красный от натуги, придержал тот огромный груз, пока не опомнились мужики и не подоспели на помощь. На руках да на ломах спустили бревна вниз. Ну, были там подвох или не было, выяснять некогда. Не до

разборок. И все же дело получило огласку. Альвина тут же отправили в санчасть: надсадился мужик. Ну, так и есть от чего: такую махину удерживал. Еще какой-нибудь год мало кто бы об этом вспомнил к вечеру: на лесоповале таких случаев пруд пруди, в том числе и со смертельным исходом. А это даже и не событие: подумаешь — мужик надсадился! Теперь же и заговорили, и даже летучку провели по технике безопасности. То ли и правда новые времена наступили, то ли только потому, что новый начальник в зоне появился.

А вечером подошли к Якову те двое, что бросили Альвина в той ситуации. С упреком подошли, что, мол, ну какого лешего ты ввязался в это дело. Пусть бы этому молельнику помог Бог, про которого он всем уши прожужжал. Тут, дескать, от безысходности друг друга сожрать готовы, а он все о какой-то милости бубнит. Вот бы и глянули, как Бог его спасет. Говорили с явной неприязнью к Алику, но одновременно и так, чтобы польстить Якову. Если бы, мол, не он со своей силушкой, не смущал бы больше пустобрех-проповедник людей своими баснями. Небось, если бы покалечило, перестал бы мозги народу пудрить.

Не стал Яков дальше слушать, только смерил их тяжелым взглядом. Но этого было достаточно, чтобы они моментально исчезли: в зоне никто не хотел попадать под его горячую руку. Сам же он в горьком размышлении пошел в санчасть к Альвину. Все повторяется! Все, о чем когда-то говорили они с Адамом, теперь происходит

здесь. И люди — не уголовники! — ведут себя как самые подлые озверевшие урки. Вот эти двое, точно такие же бедолаги, как и все, жалеют, что не до конца изувечило мужика. Но ведь Алик им ничего плохого не сделал! Он желал всем только добра. Так неужели права пословица, бытующая в лагере: «не делай людям добра, не проживешь зла»? Ох, озлобился народ, озлобился. Теми мыслями и поделился Яков с Альвином. А уходя, посоветовал.

— Брось ты людям о добре напоминать, не место тут добру. Ты говоришь, что оно от Бога, а откуда Богу тут взяться? Даже, если Он есть, то позабытые мы тут Им, наовсем позабытые.

— У Бога никто не забыт, Яша. Он всегда рядом.

— Ага, рядом! Вот этим двум субчикам как раз и было интересно увидеть, как Он тебя спасет. А Он так и не появился. Вот-те и рядом. Теперь шибко жалеют, что не зашибло тебя.

— А ты, Яша, спроси у них, ну и у себя заодно, почему так случилось, что ты вдруг там оказался? Ты ведь должен был в это время уже на лесопилке быть. Что ты на это скажешь?

И заторопился Яков в смятении. И по дороге в голове — полный сумбур; а ведь и правда, свои дела он там, как бригадир, уже сделал, а вот крутился же у машин, сам не зная чего. И никак не мог уйти. Будто ждал чего-то. Мать честная: да ведь он действительно ждал! Значит, как раз вот этого? На полдороге к бараку остановился Яков от такой догадки.

«Ну, и дела-а... Что же удержало меня там? Или — Кто?» — И сладостной тоской заняла душа по чему-то неведомому, но такому близкому и желанному. Это неведомое влекло его и будто говорило, что это уже было с ним, было. И не только там в зоне, где остался его лучший друг Адам. Но когда-то совсем давно, может быть в самом раннем детстве. Что-то знал он в детстве своем. Что именно, догадаться не мог, но от неясных воспоминаний на душе становилось светлее...

В той трудармии делить людям кроме бед и горя было нечего, но любому человеку намного легче, когда есть с кем разделить эту напасть. Наверное, поэтому и выпросил Яков к себе в бригаду Алика по выходу из санчасти. Чтобы было с кем делиться. Насколько, конечно, позволяли те нечеловеческие условия. Они и работать стали в паре, и через короткое время уже настолько чувствовали друг друга, что обходились без лишних слов: достаточно было взгляда, чтобы определить намерения товарища. И хотя за плечами Якова были годы лагерей и опыт работы на лесоповале, да и силой обладал он недюжинной, но «первую скрипку» в их отношениях играл все же не столь видный Альвин. Может быть потому, что у него было то, чего иногда так не хватало Якову. Яков был уже не тот, что был когда-то в лагерной зоне. Он часто впадал в беспричинную меланхолию, днями не разговаривал ни с кем и все держал в себе. Альвин же никогда не терял присутствия духа и поддерживал товарища морально. Тот особенно стал нуждаться в поддержке именно в это,

уже послевоенное время. И тому были причины. В самые трудные годы постоянная мысль о том, как выжить, в какой-то мере заслоняла тоску по дому, и Яков не так отчетливо ее выказывал. Но вот наступило послабление: убрали вышки, сняли колючку, на работу стали ходить без конвоя и получать карточки, чтобы приобрести какие-то продукты в магазине — словом, какая-никакая, а свобода. Только вот радужным надеждам на возвращение домой по окончанию войны не суждено было сбыться. Всех их «зафиксировали», намертво прикрепив к этим местам. И тоска та все отчетливее стала проявляться в людях. А Яков просто на глазах стал хиреть. И, как уже часто случалось в его жизни, наступил момент, когда он пошел напролом, не заботясь о последствиях. Короче говоря, он решил бежать. Бежать, вопреки всякому здравому смыслу. А уж коль скоро он что-то решил, то должен исполнить это не откладывая в долгий ящик. Каждый час пребывания в зоне превратился теперь для него в невыносимую муку. Что будет потом, его совершенно не интересовало. Только бежать! И — непременно — сейчас!

Когда он выложил другу свой план, оказалось, что подумывал об этом и Альвин. Ему бежать-то особо было некуда: всю родню выкосило в голодные годы на Украине. И только в Тюменской области была двоюродная сестра по отцовской линии. Тем не менее он тут же поддержал идею. Наверное потому, что был убежден: не пойдет он, уйдет Яков один и сгинет в тайге. Огромных усилий ему стоило уговорить друга отложить побег на

один день. «Голодным далеко не убежишь — остудил он товарища и пошутил. — Если уж уходить, то в первый день лета, а не в последний день весны. С тайгой шутки плохи: неподготовленным она не потакает. В общем, надо попробовать хотя бы за полцены отоварить продуктовые карточки, а уж потом бежать. Вот тогда-то тайга и укроет, и накормит.»

Что он с успехом и сделал, и кое-какой провиант они прихватили с собой. И вскоре Яков убедился, что не будь с ним Альвина, он бы уже в первые дни повстречался с бедой. Или помер бы в тайге от голода, или из-за него же вышел из тайги к людям. А здесь, в районе сплошных лагерей это все равно, что вернуться в зону. Кроме всего прочего, у него не было еще и навыка бродить по тайге. Вот ведь сколько уж лет провел в таежных местах, а самому побродить по ним так и не довелось! Альвин же будто прирожденный таежник, нутром чуял путь и ушли они уже довольно далеко. Но вот случилось же так, что в беду попал сам проводник. В сумраке утра осклизнулся в болото, поверху затянутое ряской: как есть лужайка зеленая, днем-то не распознаешь, что это болото, не то что в сумерки. Едва успел Яков заломать подвернувшуюся у заберегов осинку. Уже по плечи засосало Альвина и одна только голова виднелась над трясиной. Вытащить-то вытащил, да вот лихоманка свалила мужика с ног после этого купания.

Глава 4

Матвей

Солнечные лучики просеивались сквозь игольчатую завесу ели и ласковыми прикосновениями тормозили беглецов от их тяжелого, но восстанавливающего хоть какие-то силы, сна. Но не они заставили проснуться Якова.

В его сознании рефреном звучал и не исчезал призывный крик Варвары: она стояла на пригорке с дочкой на руках и звала, и звала его. Он очнулся и призыв стих. Яков уже понимал, что это ему просто снится, но так не хотелось возвращаться в реальность, что он только крепче сжимал веки.

Вдруг сквозь тяжеловесность дремы он интуитивно ощутил рядом чье-то присутствие. С трудом разлепил он глаза и сквозь застилавшую их пелену различил сидящего напротив на корточках неправдоподобно рыжего, бородатого мужика в болотных сапогах и винтовкой за спиной. Тот пристально вглядывался в его лицо. Рядом, положив мордочку на лапы, лежала беленькая, с рыжими ушками, лайка.

«Охотник, — облегченно вздохнул Яков. — Или чудится? Чудится, конечно, человеку-то откуда тут взяться. Да еще и рыжему...»

— Живой, что ли? — услышал он и невольно вздрогнул от чужого голоса. Лайка настороженно заворчала.

— Тихо, Бельча, тихо, — негромко сказал рыжий. — Беглый? — И, не дождавшись ответа, удовлетворенно констатировал. — Беглый. И куда только люди бегут? На погибель собственную. Друг-то твой вон, кажись, отбегался. Аль нет? Ну-ка, Бельча, посмотри.

При этих словах Яков мгновенно пришел в себя, приподнялся на локоть и затаил дыхание.

Лайка подошла к Алику и, обнюхав его, лизнула в лицо.

— Гли-ко, живой! — удивился рыжий. — А на вид: так в гроб намного краше кладут. Зачем ты его с собой-то тащишь? На суп?

— В болото он попал, — не поняв вопроса, пояснил Яков, — вот второй день лихманка и трясет. А так-то покрепче меня будет, уж будь уверен. Выдюжит он, выдюжит.

— Ну, это навряд ли. Ему лучшего места, как здесь, уже не найти, паря. Да и ты, судя по виду, от него недалеко ушел. До следующего-то утречка уж не дотянул бы, если б не я. Это я тебе говорю, Матвей Клыгин. Держи вот, — достал рыжий из вещмешка большой ломоть хлеба и махнул рукой. — Вон там за буреломом — ручей. Подкрепись маленько и если хошь, пойдем ко мне на заимку. Тут версты три будет. Подлечишься, а там — посмотрим.

Захочешь — в напарники возьму: мне одному в этом году в тайге не с руки. Работы много.

Медленно, но дошло до Якова, что списал мужик Альвина. Только теперь и дошел смысл его вопроса.

— Ты вот что, — тяжело сказал он. — Мы с ним не уголовники, чтобы супы из друг друга варить. Мы — трудмобилизованные. Можешь помочь — помоги обоим. А нет — проходи. Только больше так не догадывайся: друга своего я не оставляю. А поможешь — отработаю тебе за двоих.

— Ну, что ж, дело твое: хозяин — барин. Ташши его, коли охота есть. Подготавливайся, пока я тут силки проверю. К обеду возвращусь, проведу вас на заимку.

— А придешь ли... Матвей?

— Приду, Яков, приду. Что, удивился? Да друг тебя так звал. В утре-то голос как поднесено слышно. Не Яшка, не Яков, а именно что Яков. Но мне это одинако: что немец, что мордвин. Я на его крик с Бельчей и пришел. Вижу: один мужик уже не дышит, как гора мурашиная скукурзинился, а другой в беспамятстве мечется, потом затих. Ровно зачуял, что кто-то идет, так и затих: я и подумал — помер. Ну, может и правда не пора еще. Ладно, ждите. Пошли, Бельча!

Яков укрыл Адама своей фуфайкой и пошел на поиски ручья. Вернувшись с родниковой водой, он приподнял Альвина и дал ему попить...

Недели через три, когда и Альвин уже был Матвеем в помощь, появился на заимке мальчуган лет двенадцати.

— Племяш мой, Платошка, — представил его Матвей. — Выведет вас из леса коротким путем к поселку, а оттуда по дороге еще пилить вам да пилить: верст тридцать будет до станции. Можно бы и напрямую, через болото, всего-то верст пять, только вот никто там теперь не осмеливается ходить. Больно много страшилок про то болото рассказывают. Был один мужик, не боялся, но он уже давно не охотник — на хлебную работу перешел. Да и вас самих, наверное, болото не очень-то манит, а? — он рассмеялся. — Один-то раз уже испробовали. М-да-а. Вот я и говорю, что лучше через село. Вряд ли вас искать тут будут. Кому вы нужны? А так, смотришь, с колхозниками на подводах доберетесь. Они на станцию раза два-три на дню ездят. — И под конец невесело пошутил: — Ну, а там уж сами подгадывайте, на чем дальше ехать — на «скором» или на товарняке. В общем, с Богом! А ты, смотри, в село — ни ногой, — наказал он племяннику. — На опушку выведешь и тут же вертайся.

«Короткий путь» оказался на самом деле не таким уж и коротким. Добрых полдня пробирались они вслед за Платоном по каким-то одному ему приметным тропинкам дремучей тайги. И отчетливо понимали, что без такого проводника проплутали бы они во много раз больше. Платошка, как прирожденный таежник, чуял тропу и ни разу не сбился с пути. И вот, в полном соответствии с наказом Матвея, вывел их из леса и показал на появившееся вдали большое село.

— Во-он оно, село-то. Только мне с вами туда нельзя. Дядька не велит.

— Да, а живешь-то разве не тут? — удивился Альвин.

— Тут. Только на отшибе мы, вон там, слева, за распадком. А вам именно, что через село надо. Дорога-то к станции там.

Стало ясно, что как ни добр был к ним Матвей, а боялся, что заметят их с мальцом. Опасался лишних глаз. Вот тебе и «кому вы тут нужны». Значит, и сам он не верил тому, что говорил? Однако, это вовсе не умаляло того, что он сделал для них. И за все за это они были ему благодарны.

— Тут кругом одни болота, — продолжал Платошка и очертил рукой пространство. — Тут боле нигде не пройдешь. Сам дядька через него редко когда ходит, потому что там нечистая сила. Вечор вон опять этот стерх болотный так завывал — прямо душа в пятки ушла. Это ж лето началось — самая ихняя пора гудеть: «Тру-у-умб, тру-у-умб» — очень правдоподобно изобразил он крик выпи и поежился. — Ужась. Ну, бывайте, мне вертаться пора. — Махнул рукой на прощание и поспешил скрыться в лесу.

Друзья озадаченно посмотрели друг на друга. Раз уж миновать это село они не могли, так может быть дождаться ночи? Яков, как всегда, ждал решения Альвина. И тот решился. Кратко помолвившись, он положил руку на плечо друга.

— Будь что будет, Яша. Где гарантия, что ночью не собьемся с дороги и в то же болото не угодим? Если Богу угодно, проведет нас и днем.

И здесь им несказанно повезло. Они уже шли по безлюдной улице села, как из бокового переулка вынырнул какой-то мужик. Близоруко щуря глаза, он выждал, когда они подойдут совсем близко, и только тогда окликнул их.

— Не поможете, товарищи? Тут совсем рядом. Телега с мешками у меня перевернулась, а? — Потом, видимо, достаточно хорошо разглядев сильно обросших, бородатых «товарищей» и их, скажем так, не совсем свежие лица, шмыгнул носом. — Если силенки, конечно, еще остались.

— Остались, остались, — живо заверил Альвин. — Давай, показывай, где что у тебя.

— Вербованные? — вместо ответа уточнил тот.

— Ага, вербованные, — обрадовался неожиданному и очень удачному определению их статуса Альвин.

— Вот так вот без оглядки завербуются, куда ни попадя, а потом бегут, — беззлобно проворчал мужик. — Ну, пошли. Вон она, колымага моя. Хорошо, хоть коня выпрячь успел. Так бы совсем — «пиши пропало». — И словно оправдываясь перед ними. — Коню что: он себе идет и идет. Он ведь за телегу не в ответе. Это я, подслеповатый, не доглядел. Вот в овраг и съехал.

Телега, доверху груженная мешками, не перевернулась, а только сильно накренилась, так что мешки,

упавшие первыми, как бы послужили ей опорой. Теперь надо было сначала скинуть остальные мешки, вытащить телегу, а уж потом снова загрузить их. Сами мешки, на удивление, оказались не такими и тяжелыми.

— Мануфактура, — пояснил мужик, назвавшийся Федором. — Везу с фабрики на склад магазина. Только у меня, мужики, расплатиться нечем. Задаром, значит, подсобите, ежели че.

— Да ладно, — отмахнулся Яков. Он уже оценил ситуацию. — Ты, Алик, как скомандую, сзади толкай, что есть силы. А ты, Федя, берись вон, за оглобли, выруливать будешь.

— Ты кого удумал-то? — удивился Федор. — Сымать надо сперва...

— Делай, что я сказал. Попробуем, — Яков слез в овраг и подладился плечами к телеге. — Ну, поехали! — поднатужился он и, упираясь ногами по склону оврага, выровнял телегу. — Теперь давай, давай, толкай, — надсадно выкрикнул он и, развернувшись боком, тут же вытолкал ее на дорогу.

— Мать честная, вот это сила! — восхищенно развел руками Федор. — Чистый богатырь! Таковую махину на плечах вынес.

— Ты найди ему что-нибудь поесть, он тебе весь твой склад на плечах перенесет, — добродушно рассмеялся Альвин.

— Ну, это-то мы найдем, это найдем. Щас отвезем товар — и ко мне. Вернее, к дочке моей, Верке: она

тут как раз складами и заведует. Заведующая, значит. И — никаких отговорок, — суетился мужик, помогая укладывать упавшие мешки. При этом не переставал повторять. — Это же надо! Ну, и силища! Вот тебе и вербованный.

Хоть и шутя, но напророчили они себе работу. И именно на складах. Дочь Федора Вера так и расцвела в улыбке, когда он заикнулся ей об этом.

— Склады завалены, а мужиков нету, — посетовала она. — А которые есть, так или «сутрапьяны», или калеки. Пойдемте-ка, подберем вам спецовку и тут же можете приступать. Зарплатой не обижу.

— Это они завтра начнут, — вмешался Федор. — Путь-то у них больно далекий был. Пусть в баньке у меня попарятся да отдохнут с устатку.

— Ну, завтра, так завтра, — охотно согласилась Вера и выдала им по рабочему хлопчатобумажному костюму и паре нательного белья. Даже на Якова подобрала размер. Тот, как переоделся после баньки да огладил ладонями грубоватую ткань, почувствовал вдруг, как защемило тоской сердце по тем временам, когда работал он с Фридрихом в Ленинграде. Такие же вот костюмы носили они тогда. Похоже, что и Альвин испытывал то же самое. Он с недоверием разглядывал Якова и — с неменьшим — ощупывал себя. Дескать, неужели и я так выгляжу? Так ведь немудрено: столько уж времени каждый из них судил о себе по внешности товарища. А теперь после того, как отмылись да побрились, да еще и в зеркальце

посмотрелись — то и диву дались оба: ну, ни дать ни взять — интеллигенты! Да в таком-то виде и на людях не страшно показаться. Кому на ум взбредет заподозрить в них беглых? Никому. Нет, все они правильно сделали, что сбежали. И прямо сияли оба, не скрывая радости, и в этой их радости было что-то детское. Ох, много ли человеку надо?

Вера действительно не обидела: за два дня работы и деньги выдала, и за спецовку не высчитала. И вполне искренне пожалела, что приходится расставаться с ними обоими.

— Будь моя воля, не отпустила бы таких работников, — сказала она на прощание и предложила на всякий случай. — А то бы оставались у нас? — И, оглядевшись, будто кто-то мог ее в кабинете подслушать, уже совсем тихо добавила: — Мы бы вам тут и документы все выправили? А? Все чин по чину. Тут мы это можем. А вот подальше отсюда будьте осторожнее. Проблемы могут появиться. Ну, да Федор вас до станции подбросит и о билетах на поезд позаботится. Раз уж вас тут не удержать. Догадалась, значит, какие «вербованные» работали у нее.

И тут, словно по заказу, явился и сам Федор. Только вот больно озабоченный вид его насторожил беглецов. И с первых же его слов поняли, что о всяких там билетах и безопасной прогулке придется позабыть

— Плохо наше дело, мужики, — без обиняков заявил он. — Васька — уполномоченный наш, вами заинтере-

совался. Познакомиться с вами захотел. А это, как я понимаю, совсем не входит в ваши планы.

По тому, как переглянулись друзья, было понятно, что такого желания у них нет. Вера тоже заволновалась.

— Ты сказал: «захотел»? — уточнила она. — Значит, больше не хочет? Что ты ему сказал? И какой у него к ним интерес, ты не спросил?

— Ну, ясно, какой, — досадовал Федор. — Кто, мол, такие, откуда? Да какой бы ни был интерес, а мужикам оттого не легче. Ну, вывернулся я: сказал, что вербованные и что, мол, утром еще отправились на станцию. А откуда и куда путь держат, так, мол, сам догони и спроси. Я-то в курсе, что не до них ему на данный момент. У него аккурат гости с района. Но кто ж его знает: вдруг чего взбредет в пьяную башку — возьмет и нагрянет сюда. Так что береженого Бог бережет. — Федор близоруко прищурился, всматриваясь в лица друзей, и вздохнул. — Теперь вам что здесь оставаться, что на станцию топать — одинако опасно. Как бы он с гостями своими по дороге вас не перехватил.

И кончилась радость. Уступила место привычной тревоге. Оба беглеца почувствовали противную дрожь в коленях.

— Нам Матвей Клыгин говорил, что на станцию можно через болото пройти, — кашлянув, промолвил Альвин. — Упоминал об одном здешнем охотнике, будто знает он тропки через болото. Так, может быть, мы сами попробуем?

— Да я и есть тот охотник. Бывший только, не теперешний, — вздохнул Федор с грустью. — Ну, допустим, проведу я вас туда. А если он как раз на станции вас и дожидаться будет? — И тут его словно осенило. — Вот если не на станцию, а на разъезд... — Он резко повернулся к заведующей. — Вера, ты бы ходила к Кузьмичу, попрердержала немного, если они дома. А я пока с мужиками задами к камышам выйду, да по болоту к полустанку их проведу. А там уж их ищи — свищи.

— Да там же голимая топь, тятя, — всплеснула руками Вера. — А ты ж дальше носа теперь не видишь.

— А мне глядеть и не надо, — усмехнулся Федор. — Я каждую кочку этим самым носом чую. Забирайте, мужики, свои хохоряжки: фуфайчонки да штаны — они вам на товарняках еще пригодятся.

— Может быть, лучше уж я попробую Кузьмича задобрить, — сделала Вера последнюю попытку отговорить отца от опасной затеи. — Жене его крепдешинный отрез на платье подарю. Это понадежнее будет, чем по болотным кочкам-то прыгать. Да и сам ты давно уж не ходил там.

— Ага, с ними только свяжись, — криво усмехнулся Федор. — А то ты не знаешь их породу: и товар заберут, да еще и бумагу напишут. Оно тебе надо? Мало они тебе крови попортили? А вот попрердержать, так это ты постарайся. — И голосом, не терпящим возражений, скомандовал: — Иди, дочка. — И выждав, когда она вышла, размашисто перекрестился. — А мы, мужики, тронемся, благословясь!

Помолился и Альвин. И уже через каких-нибудь три часа друзья, уставшие и мокрые по пояс, сердечно распрощались со своим проводником, и влезли в полувагон на каком-то безлюдном полустанке. И начался очередной отсчет времени. Времени, которое то к увеселению души бежало вперед торопливым перестуком колес, то к тоскливому унынию зависало часами томительного отстоя на каком-нибудь перегоне, где их товарняк пропускал как встречные, так и попутные составы. Но время не зависало на месте: вокруг шумела, раскланивалась от ветра всеми своими кронами величественная тайга, пропуская время туда, дальше, за самый горизонт, а на путников навевая тоску безвременья. Но стоило составу тронуться в путь, как надежда оживала вновь.

194 Только уже в другом времени: то, ушедшее к горизонту, никогда не наверстаешь, не догонишь. Оно невозвратно. Сколько они ехали? Казалось — вечность. А на поверку — двое суток. И вот на одном из перегонов, на пустоши, где тайга отступила не меньше, чем на километр, они вдруг услышали приглушенные голоса. Много голосов.

— Солдаты, — обмерли беглецы и залегли на пол. Обмерли не столько от страха, сколько от обиды: проделать такой путь и попасться, когда опасность, считай, миновала! Они были на тормозной площадке, где отходили от угольной пыли вагона, и вернуться наверх незамеченными было уже невозможно. Как и убежать, будь даже на это силы: все пространство до спасительной тайги лежало, как на ладони.

— Приехали, — упавшим голосом пробормотал Яков. — Ах, чтоб тебя. Слушай, Альвин. Я щас на ту сторону слезу, отвлеку их насколько смогу. Может, не заметят тебя. Тебе ведь до Тюмени не так много осталось...

— Нет, — необычно властно остановил его тот. — Не делай этого, Яков. Богу молись. Шибче молись.

— Дак вон они уже, Алик, что Бог-то может тут сделать? — со странным намерением оправдать теперь уже Бога, тихо шепчет Яков.

Уже можно было различить говор приближающегося конвоя. Судя по голосам их было трое. И вот уже послышался звук осыпающейся гальки под сапогами карабкающегося по крутой насыпи солдата. Потом он ухватился за поручни вагона.

— Петро, — донеслось снизу и поодаль, — че тут время терять: тут все остальные дозади — углярки. Пойдем наперед, проверим которые крытые.

Но тот молоденький Петро уже стоял на подножке и вовсю глазел на двух лежащих на полу — с ног до головы черных от угольной пыли — оборванцев. То, что это не уголовники, он понял сразу, как только встретился с ними глазами. В них стояло столь знакомое ему с детства смирение судьбе и неизъяснимо кроткая, немая мольба: «Не выдай нас, сынок!» И вот рука его непроизвольно взметнулась и он крадче осенил себя крестом.

— Ну, чего ты там, — нетерпеливо продолжил тот же голос. — Аль призрак увидел? Кончай эту канитель.

— Дак наверх не лезть? — полуобернулся, наконец, солдатик.

— Делать неча. Айда, говорят тебе.

— Храни вас Бог, — прошептал солдатик и спрыгнул с подножки...

Раздался протяжный свисток, по составу прошла нарастающая судорога, на пике ее вагоны толкнулись, лязгнув буферами, и плавно набирая ход покатались навстречу времени. Паровоз, наскучавшись от долгого стояния, запыхтел всеми фибрами своей паровой махины и от радости то и дело гудел, добавляя густого пару в и без того молочный туман утра. Друзья молчали в благодарении Богу.

— Альвин, это — чудо? — наконец вымолвил Яков.

196 — Ты думал, что так будет?

— Нет. Мы просто молились. А что будет, Он решает Сам.

— А если бы поднялся другой вместо этого солдатика?

— Не знаю. Я просто верю: Господь делает то, что считает нужным.

— Смотри: там, в лесу, когда ты уговорил меня и мы молились — пришел Матвей и спас нас от верной гибели. Во всяком случае, от голодной смерти. По молитве Федора мы проскочили болото. Сейчас мы молились и пришел этот солдатик. И не выдал нас охране. Наверное, у него верующая мать. Бог что — приходит и дает, когда уже нет надежды? Только по молитве?

— Не всегда, Яша. Бывает, что и не дает по молитве, потому что просим-то мы не всегда на то, что нам необходимо. Тогда главное: разобраться, почему Бог не ответил на молитву. И потом обязательно окажется, что именно так и надо было. Только Он знает, что нам нужно.

— Что же, по-твоему выходит, я не знаю чего мне же самому и нужно?

— Выходит, что так...

— Непонятно мне это, — вздыхает Яков, и Альвин в который уж раз пытается объяснить ему такую вроде бы очевидную истину.

На очередном полустанке у них появился попутчик. Вернее, сначала появился вещмешок, который он закинул на площадку. Это потом уже, когда поезд тронулся, вскочил на подножку и его владелец, подросток лет двенадцати. Сунулся на площадку и оторопел: мужики-то больно страшные, мало ли что у них на уме. Засуетился пацан, заозирался по сторонам, а назад уж ходу нет. Уловив его страх, первым опомнился Алик.

— Милости просим, — улыбнулся он мальчугану. — Будь гостем. В тесноте, да не в обиде. И не бойся нас, мы не такие страшные, как кажется.

— А че мне бояться, — расхрабрился паренек. — Меня попробуй тронь — не обрадуешься. Нас человек двадцать тут. Вон на всех площадках едут.

— Да ну, так уж и двадцать, — усомнился Альвин. — Тут и вагонов столько не будет с площадками.

— Значит, десять, — вмиг перестроился парнишка. — Ну, и че? Ежли че, как свистну. Вот так, — сунул он два пальца в рот, но не свистнул, а лишь выжидательно смотрел на попутчиков. — Хотите?

— Да нет, конечно, — притворно испугались они. — Это ж целая армия у вас. И как вы только не боитесь по товарнякам шастать. А вдруг охрана, а? Тогда как?

— Да нам охрана, что есть, что нету, все едино, — разошелся пацан. Шибко понравилось ему как он нагнал страху на этих мужиков. — Миньки, ну, меня, то есть, и сами охранники боятся.

— Вон оно как, — поверил Алик и спросил миролюбиво. — Так значит ты — Минька? Слышал о тебе, слышал. И куда ж это вы все собрались?

198 — До Камыша, — заважничал парнишка. Хоть и непонятно было, что мог слышать о нем незнакомец, но узнать это было приятно. Он немного успокоился и теперь уже стал жалеть, что так сильно их застрадал.

— Это Камышлов, что ли будет? — встрепенулся молчавший до сих пор Яков.

— Он самый, — кивнул пацан. — Авы че, не здешние? Тогда я могу вам все полустанки назвать. До Камышихи еще два будет. Я тут уже который раз еду..

— И вся армия с тобой? — удивился Альвин.

— Да нет, — смешался Минька. — Не всегда.

Постепенно их разговор приобрел совсем доверительные нотки, и оказался Минька обыкновенным беспризорником, кочующим по городам и весям Союза.

А вскоре уже и согласился ехать с дядей Аликом до Тюмени. А дальше, мол, как Бог даст. Яков со сжимающимся от жалости сердцем слушал планы двух одиноких людей, но в их беседу не вмешивался. В Камышлове, следуя совету бывалого Матвея Клыгина, ему придется расстаться с другом. Там их пути разойдутся.

Альвину (теперь уже с маленьким попутчиком) дальше на восток — к Тюмени, а Якову — на юг, в Кустанайскую область Казахстана. Теперь ему одному предстоит пробираться через Курганщину, и близкое расставание с другом печалило его. И хотя от Матвея он наизусть помнил названия крупных населенных пунктов, что будут его основными ориентирами в пути, все же тревожное чувство не покидало его. Как-то ему будет без друга? А тот, угадав его сомнения, сказал на прощание.

— На все воля Божья, Яша. Только молись непрерывно. Каждый свой шаг молись и соизмеряй его с путем Господним и Он приведет тебя домой. К Варваре приведет. В этом будь уверен. А мы с Минькой доберемся до моей сестры. И кто знает: может Бог даст нам свидеться еще тут, на земле.

— Хорошо бы...

Долго смотрел Яков вслед удаляющимся товарным вагонам. Вместе с Альвином они уносили с собой и частичку его сердца...

Глава 5

Две Клары

Снедавних пор шестилетняя Клара стала оставаться дома одна, поскольку ее старшая сестренка уходила на работу вместе с мамой. Рано, ой как рано приходится вставать колхозным дояркам. В то самое время, когда Кларе больше всего спать хочется. Она не слышит, когда они встают, но чувствует, что тепло от Кристины уходит, и ей становится зябко. Девочка плотнее закутывается в одеяло и досматривает свои незатейливые детские сны. Честно говоря, не так уж и часто ей что-нибудь снится, а если и снится, то наутро вспомнить все равно ничего не может. Уж как бы она ни силилась, а не помнит и все тут. И тогда Клара стала придумывать себе эти самые сны и рассказывать их маме. Примерно так, как это делала их соседка Василиса. Нет-нет да и заглядывала к маме эта пожилая женщина и девочка слышала, как она в мельчайших подробностях излагала свои сны и многозначительно поджав губы, сама же их и истолковывала. Мама свои сны не рассказывала, но чужие слушала с удовольствием, и то тяжело вздыхала,

то искренне радовалась вместе с рассказчицей. Ну, это в зависимости от толкования.

— О, это к худу, — говорила соседка и мама печалилась вместе с нею.

И в другой раз.

— Это, дева, к добру я видела, — и мама согласно кивает головой. Так, конечно, мол, к добру. А как же.

Жаль только добра того что-то совсем не видно. Одни печали кругом. Только и радости за все время было, что в сорок третьем году вернулась из заключения Клара. Не одна вернулась — с мужем. Ее рассказ показался Варе такой немислимой фантастикой, что не будь они оба вот тут прямо перед ней, ни за что бы не поверила. Свой срок Клара отбывала в системе карагандинских лагерей — Карлаг. И в той людоедской системе не только выжила сама, но помогла выжить и своему Архипу, который, как она вызнала, сидел здесь же, неподалеку. Работала она последнее время в подсобных хозяйствах лагерей кем-то вроде ветврача, пользовалась какой-никакой, а свободой, и через расконвойников, а то и через самих конвоиров не раз передавала ему хоть и скудные, но все же деньги. А когда даже и продукты. Каким бы строгим ни был режим, а за определенную мзду там можно было передать что угодно. А за деньги — еще и что угодно купить. Конечно же, соотносительно тем скудным товарам, что имелись в самой системе. Самое же невероятное в их истории, что освободили их по какому-то неведомому стечению обстоятельств

в один день, и Кларе не пришлось ломать голову, где ей ожидать своего мужа. Ну, для кого-то это и было случайным совпадением, но она-то знала определенно, что это благословение Божье было ответом на их с Архипом молитвы. И теперь они славили Господа уже вместе: с того самого момента, как освободившись, встретились в административном центре Карлага, селе Долинском.

Годы заключения нисколько не изменили Клару. Она была такой же общительной и доброй.

— Знаешь, Варя, — улыбалась она своей открытой улыбкой, — я и раньше молилась за тех, кто гонит нас, а теперь делаю это вдвойне за того судью, что дал мне несправедный срок. Ведь не попади я туда, никогда бы не узнала, где находится Архип. А если бы случайно встретила где-нибудь, то вряд ли узнала бы его. Это сейчас на него уже можно смотреть без содрогания, а видела бы ты его два года назад: в гроб краше кладут! Да там большинство мужиков такие доходяги. Он же меня признал сразу, когда я проводила в их зоне дезинфекцию. Он лежал на нарах в своем бараке и окликнул меня. Два-три слова только и успела услышать от него. Там с этим строго, а сопровождающий меня конвойр был зверь, не мужик. Но я уже знала, что буду делать дальше. Ну, а ему вряд ли довелось разыскивать меня. Ведь он бы уже и месяца не протянул, не встретить я его. Да и сейчас: сколько он протянет? Не знаю. Молюсь вот, чтобы разрешили поехать с ним в тубдиспансер.

Думаю, что Господь усмотрит нам исцеление. Все ведь в руке Божьей.

Да, здоровье ее мужа оказалось сильно подорвано лагерной жизнью: бледный, с нездоровым румянцем на щеках, Архип выглядел очень слабым. Часто он просто задыхался от кашля, и даже несведущему человеку было ясно, что дни его сочтены. Тем удивительней было слышать Варю о какой-то надежде Клары на Бога. Что Он может сделать, если человек, в сущности, уже приговорен. Нельзя же так обманываться. Уже не говоря о том, что им не стоило даже и мечтать о поездке в алма-атинский тубдиспансер, поскольку оба были «невыездные». Лечиться ему можно было только в пределах своего района. Какая там Алма-Ата! Но ни Клара, ни сам Архип не теряли надежды на счастливый для него исход. Впрочем, как потом поняла Варвара, под этим у них подразумевалась и встреча со Христом в вечности. Оказывается, уход в вечность для верующих людей вовсе не такая уж и плохая альтернатива. Только бы быть там со Христом!

И вот первое сногшибательное известие: после долгих мытарств по инстанциям им все же было разрешено уехать в Алма-Ату. А уже через полгода Варя получит письмо, из которого узнает, что Архип, приговоренный и там местными врачами к неминуемой смерти, в течение всего этого времени медленно, но верно выздоравливал. И вот уже выписан из больницы. Да еще как! Со снятием с учета! Чья это была заслуга? Теперь и у

Вари не осталось на этот счет двух мнений. Пример их беззаветного доверия Богу послужил и ей стимулом для молитв за Якова и детей. И не только ей.

В селе Клара с Архипом не прожили и двух месяцев. Но даже за это время Клара успела познакомиться со многими переселенцами, и до своего отъезда уже организовала группу верующих, с которыми молились они в доме у ее родителей. Приходила туда и Варя. Преследования верующих на то время поутихли, и истосковавшиеся по общению люди в молитвах открывали Богу свои нужды, и просили Его о защите. Нападки же на них начались теперь уже совсем с другой стороны. Со стороны верующих других конфессий. Как-то явилась к ним одна местная старушка, когда в доме никого, кроме Клары и забежавшей к ней на минуту Варвары, не было. Да и Варя уже собиралась уходить, но увидев Авдотью, замешкалась. Ей стало интересно узнать, что привело сюда эту бабку. Этой старухе палец в рот не клади — скандальней и отчаянней бабы в селе не сыскать. Известная своей набожностью, и каким-то родством с батюшкой православной церкви в районе (что, однако, не мешало ей ворожить и заниматься знахарством), она не боялась никого и ничего. Никто ей не указ; даже сам участковый обходил стороной ее дом, резонно полагая, что связываться с такой горластой бабкой будет себе дороже. По всей вероятности, старушка о чем-то была наслышана, потому что настроена была весьма воинственно. Не обращая внимания на приглашение присесть, она сначала внимательно огляделась и,

не найдя того, что искала, удовлетворенно хмыкнула. И только тогда села на табуретку, всем видом показывая, что разговор будет «сурьезный».

— А еще говорят, что у тебя, девка, люди Богу молятся, — без всякого предисловия упрекнула она Клару. — Кому ж вы тут молитесь?

— Богу, бабушка, Иисусу Христу, — как можно мягче сказала Клара.

— Ага, Христу, — усмехнулась Авдотья. — А чего ж я Его не вижу? Где Он у вас тут? Прячете, что ли? Дрожите, небось, как бы наново не заарестовали, а? — И смолкла в ожидании оправданий. Но их не последовало, и это немного разочаровало ее.

— Тоже мне — христиане называется! — Голос ее крепчал. Вот-вот перейдет от укоров к разоблачениям и угрозам. Именно так обычно начинала разбег страшная местная воительница. Теперь только попробуй перечить — так пойдет вразнос, что и не остановишь.

— Бабушка, а Иисус — Бог или нет? — так же мягко спрашивает Клара.

— А как же!

— Тогда как можно спрятать Христа, не подкажешь? — не меняет тон Клара. — Не иконку, а Его Самого? Разве можно спрятать Бога?

— Как — Бога? Как это — спрятать? — после некоторого замешательства переспрашивает Авдотья, забыв, что только что это и утверждала. Куда и весь пыл пропал. — Я же не это... это самое... не это я...

— Вот и я не знаю, — продолжает хозяйка. — Вернее, я знаю, что это невозможно. Бог ведь везде и во всем, как же Его спрячешь! Бог ведь не фотокарточка, которую можно в сундук запрятать. Ты же хорошо помнишь, как Сам Христос сказал самарянке: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». А Никодиму что Он сказал? Тоже ведь помнишь? «Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.» Ну, вспомнила?

— Может, и вспомнила, — не хочет ударить в грязь лицом Авдотья, но тон уже не вызывающий, а примирительный. — Только не до конца. Старая я стала, что-то и забыть могу.

206 — Так мы как раз и напоминаем тем, кто подзабыть успел. Библию читаем вместе; в ней ведь про все наше сказано, сама знаешь. Это же слово Божье.

— Слышать-то я о ней слыхала, да только читать не сподобилась, — вздохнув, призналась бабка. — А так-то, конечно, хотелось бы... — Тут она вспомнила, что пришла ругаться, горделиво надула губы и поднялась, чтобы уйти. — Только все равно нехорошо, что иконы нету ни одной.

— Погоди, погоди, — Клара ласково усадила ее и открыла Библию. — Раз ты веришь тому, что написано в Библии, так давай и почитаем ее немного. Только для того, чтобы память освежить. Ты же не торопишься? Ну, вот, зачем тогда откладывать! Тебе интересно будет,

вот увидишь. Давай-ка вспомним для начала, что Сам Бог заповедовал людям. Вот, читаем: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня. И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.» (Исх. 20:1–6).

Клара так умело делала ударения и паузы, объясняя старушке явно незнакомые слова, что Авдотье, несмотря на кажущуюся трудность текста, все стало ясным. Как это стало ясным и Варе, внимательно следившей за текстом. Почему-то именно сейчас до нее наконец-то дошел смысл фразы, с которой Клара не раз уже обращалась к ней: «Молись, Варя, живому Богу, а не изображению рук человеческих!» Благодатной волной накатило какое-то неведомое ей дотоле, неизъяснимое благоговение, и наполнило ее душу умилением. И уже будто издалека слышится ей неподдельно встревоженный голос Авдотьи.

— Как это — наказывает? Да еще до третьего рода? За что?

— Ну, тебя это не коснется. Это только ненавидящим Бога бояться надо. А к тем, кто любит и прославляет

Его, и соблюдает заповеди, Господь проявляет милость. Милость к любящим Его...

— Покажи, дочка, где «Бог» написано, — просит Авдотья, и в широко раскрытых глазах ее угадывается благоговейный страх перед Ним. — Я когда-то даже расписываться умела, — как бы оправдывается она и, приставив палец, повела им по буквам. — Бы-о-гы. Бог. — И исчез страх; заблестели, увлажнились глаза в затаенной радости. — Бог! — повторила тихо; и оттого ли, что сама смогла прочесть слово, или оттого, что к нему, как к живому Богу прикоснулась, вдруг залилась старушка слезами.

— Молись, бабушка, Господу, молись, зови Его в свое сердце, — просит теперь уже Клара, и становится около нее на колени. Столь зримое действо Духа Святого привело и ее в трепетное перед Богом благоговение. — Проси Христа простить тебе грехи твои, и сердцем своим услышишь Его. Проси! Он все видит и слышит. Он повсюду, — шепчет Клара.

О, какое это счастье — быть со Христом! В переполняющем душу ликующем восторге она пытается сдержать слезы радости, но это ей не удается. Потому что картина только что прочитанного: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа», находит реальное подтверждение; Авдотья, придерживаемая ниоткуда взявшимся Архипом, опускается на колени. А уже через секунду рядом с ней встает

и Варя. Обнявшись, они все трое в голос рыдают, но это тот светлый, радостный плач, от которого на душе становится необъяснимо свободно и легко. Это то, что называется освобождением. Свободой от греха, которую дарует Христос кающимся перед Ним. Истинно, Дух Святой может коснуться человека в любой момент и в любом месте, и возродить его к новой жизни, жизни вечной. Именно потому, что «Дух дышет, где хочет!» И тогда оживают духовно мертвые люди, освобождаясь от греха и порока. Кто-то идет к этому годы, а кого-то Дух Святой исцеляет в один миг. Авдотья, шедшая «разобраться с этими баптистами и показать им, где раки зимуют», в мгновение ока приняла Христа как личного Спасителя, чем и засвидетельствовала свое второе рождение. Варя шла к этому моменту годы. Но одного прикосновения Духа оказалось достаточным, чтобы привести обеих к покаянию. Столь скорое перевоплощение Авдотьи, занимавшейся теми самыми делами, которые Господь называет мерзостями, произвело на Варю неизгладимое впечатление и подтолкнуло к своему собственному покаянию. Значит, и с виду крикливая и бойкая старушка, как и она, подспудно искала Бога, но не видела пути к Нему? И вот, едва услышав слова Его, тут же прониклась верой. Значит, это Он Сам проговорил к ее сердцу! Воистину: вера от слышания.

— Теперь вы умерли для греха, чтобы жить по слову Божию. Вы возродились к новой жизни, — обнимает их Клара. — К жизни со Христом.

После этого бабушку Авдотью словно подменили: никто больше никогда не услышал от нее «худого слова», как говорят в народе. И не «лечила» она больше никого и никакими заговорами. А Варвара, вернувшись домой, убрала иконку обратно в сундук. Теперь она знала твердо, к Кому нужно обращаться в молитве.

Случилось это покаяние перед тем самым отъездом Клары с мужем в Алма-Ату, где ему должны были сделать операцию. А без нее как-то поугасло общение верующих. Может быть, еще и потому, что немецких женщин стали забирать в трудармию, а верующими-то, в основном, эти женщины и были.

Варвара избежала этой участи, так как ее младшей дочке Кларе тогда было всего два года. И опять вздыхает она поздними вечерами, недвижно глядя на их с Яшей фотографию — единственную память их молодости. Даже и не верится, что они были такими молодыми. И сколько ни молится, а нет просвета в тяжелой ее жизни. Вот опять приступила болезнь, и никак не отстанет. Бывает, так стянет-сдавит грудь, что ни вздохнуть, ни выдохнуть сил нет. Захватится Варвара руками накрест за плечи и стоит недвижно, пока не отпустит тот гнет. Последнее время так уж больно зачастили эти приступы. И чтобы управляться с работой, пришлось старшенькую с собой брать в помощь. Ведь после дойки Варвара еще и полы мыла в колхозной конторе. А ну, случись вдруг на работе такой приступ — успеешь разве со всем этим? А так: пока она с коровами возится, Кристина уж с полами

управится. И еще вечером в столовой у механизаторов убрать подсобляет. А уж там грязищи-и! Особенно, когда дождь. Хорошая помощница матери выросла: рослая да сильная, несмотря на жизнь впроголодь. Ну, вылитый отец! Тот ведь тоже аппетитом не отличался, а силач был, что ой да ну. И тут же спохватывается Варвара: «Да чего ж я все: был да был, будто хороню заживо. Вернется Яша, вымолим его с дочками у Бога. Как есть вернется!» Она вытаскивает из сундука его белье, рубашку, брюки... И подолгу разглаживает это все руками. Все с себя продала в лихую военную годину, чтобы не дать детям умереть с голоду. Все, включая кой-какие мамины украшения, а также подарки самого Якова: золотые сережки, кольцо и брошь... Все выменяла на хлеб и картошку, а его вещи сохранила.

По-особенному ждет его не дождется и младшая Клара. Даром, что ей и годика еще не было, как забрали его в трудармию, а уж где-ет, будто на его руках росла. И так же, как и мама, подолгу всматривается в ту одну-единственную фотографию, где он совсем молодым с мамой стоит на красивом мосту в Ленинграде. Сама себе сны про него выдумывает. А может и не выдумывает. Бывает, расскажет маме и, подперев кулачком подбородок — ну, в точь Василиса! — скажет в детском своем раздумьи: «к чему бы это?» А не дальше как первого июня буквально прилетела к маме раным-рано на работу. Переполошилась Варвара, думала беда какая стряслась, а дочка сходу и объявила, что вот, мол,

скоро папа придет. Сама от бега запыхалась, глазенки горят от радости и нет в них никакого сомнения. Есть только неколебимая уверенность, будто он и впрямь уже приехал.

— Да тебе почем знать-то, что скоро? — прижала ее к груди Варвара.

И девочка вдруг растерялась и замолчала, только своими длинными черными стрелами-ресницами хлопает.

— Сон опять увидела? — помогает ей мама.

— Не-а, — замотала головой Клара, — папа сам сказал. Я слышала.

— Хорошо, хорошо, — озаботилась Варвара, ощупывая лобик дочки. — А как он тебе сказал?

— Так и сказал: жди, скоро папа твой придет. И еще

212 погладил меня. Это когда я ночью Боженьке молилась, мама.

— Тогда это ж не папа, а Бог тебе сказал, — разволновалась Варвара. Разволновалась, потому что поверила дочке. Потому что знала: Бог открывает истину младенцам. И еще потому, что столь сильно хотелось в это верить. — Значит, будем ждать его, доченька, — тихо сказала она. — Ты продолжай молиться Боженьке. Скоро ли, нет ли, но Он нам вернет папу.

Но Клару такой расклад явно не устроил.

— Нет, мама. Скоро, очень скоро. Раз это Боженька так сказал.

— Ну, хорошо, хорошо. Будь по-твоему.

* * *

С этого дня Клара стала по несколько раз на день бегать за околицу села. Благо там недалеко и находился их домишко. Покажется какая подвода вдаль, она к ней навстречу и бежит: нет ли там ее отца? И не сильно огорчалась, что не было. Значит, на следующий день будет. Только что-то все нет и нет его. Уже и мама отговаривать ее стала, дескать, не ходи так часто да подолгу. А она на своем стоит: «А вдруг без меня папа вернется? — И беспрекословно. — Я же его первая должна встретить!»

Тут-то и примелькалась она председателю колхоза Грохотко Павлу, и однажды остановился он около девчушки. А на телеге, рядом с ним хрустит леденцами сынишка его, Яшка, чуть постарше Клары. Ему в этом

213

году в школу идти. Вот они с отцом аккурат и возвращались из города с покупками для первоклашки. Как же — событие!

— Ты чего тут каждый день высматриваешь? — спрашивает ее Павло.

— Папу жду.

— Па-а-пу, — присвистнул председатель. — Ты что, девка, знаешь, когда он придет?



— Знаю. Скоро.

— Да это кто ж тебе такое сказал? — не верит председатель.

— Боженька.

— А-а, вон кто. Ну, это другое дело. То ж я подумал, шо и правда приедет. Хм, папу она ждет. Слушай сюды и запоминай: вот если бы тебе какой важный человек пообещал, тогда — да. Тогда бы и подождать можно было. Потому что с человека за его слово спросить можно. Поняла? А так, что ж... Раз это Бог сказал, значит вряд ли приедет твой батька. С Бога-то какой спрос. Не-е, это брехня одна.

— Нет, не брехня, — насупилась Клара. — Бог не обманывает.

— Ух ты, какая уверенная, — пробормотал Павло, с интересом разглядывая девчущку. — Любишь, стало быть, отца? Ну, жди, жди.

Он уже хотел трогаться, как вдруг Яшка спрыгнул с телеги и протянул ей крохотный кулек с леденцами.

— Клара, лампасеек хочешь?

Испугалась Клара: с мальчика на отца его взгляд переводит, смотрит настороженно. И хочется взять такую сладость невиданную и страшно от непривычно доброго к ней отношения. Мальчишки-то все больше дразнят ее, да задираются.

— Возьми, — уже просит Яшка. — Ты не думай, у меня еще есть.

— Бери, бери, — ободряюще усмехнулся и председа-

тель. И бормочет в свою густую бороду, в чрезвычайном удивлении и в светлой радости от поступка сына. — Гли-ко, ухажер! — Он тронул лошадь. — Поехали, сынок, потом можешь еще сюда вернуться. Подождешь тут Яшку?

И Клара с готовностью закивала головкой: подожду, мол, чего там.

— Я только маме с Кристей гостинец отнесу, — обращившись она уже на бегу и, зажав в руках кулек, мчится со всех ног домой, только голяшки сверкают. Так ведь лакомством поделиться спешит, понимать надо!

— Славная девка будет, — задумчиво смотрит ей вслед Павло и продолжает рассуждать сам с собой. — Я и сам хотел бы, чтобы мужики вертались. Работать-то некому. А ее отец у нас за троих работал. Ох, и крепкий мужик был. И обе девки в него. Это хорошо, сынок, что ты ее угостил. Молодец! Кстати, ее отца тоже Яшкой кличут.

Яшка слышит его слова и ему от них почему-то очень приятно.

На следующий день он пришел помочь Кларе поджидать отца. Ах, насколько веселее оказалось ожидать вдвоем. Кажется, они всю степь обегали за полдня. Отца ее не дождались, так цветов полевых насобирали и Клара из них веночек себе сплела. Красивый веночек. Пришел он и на следующий день, и потом еще... До самых первых дней школы, куда, к его горькому сожалению, Клара не смогла пойти. Ей седьмой-то год только недавно пошел. Ну, да это совсем другая история.

Глава 6

Возвращение

216

В непроглядной темени промозглой сентябрьской ночи вздрогнула Клара от осторожного стука в окошко и притаилась под одеялом. Ни мама, ни Кристина, упластавшиеся вечером в механизаторской столовой (в ненастье грязи там — за день не вывезти!), даже не шелохнулись, так может почудилось ей? Нет, не почудилось: стук повторился, потом послышались тяжелые шаги к двери, будто шел кто-то, не поднимая ног. И вот уже скрипнула дверь в сенцах, и забренчало опрокинутое с лавки неловким движением пустое ведро, и этот кто-то зашелся в приглушенном, надсадном кашле. Остатки сна как рукой сняло и Клара в непонятном возбуждении села на кровати, поджав ноги.

— Криста, Криста, — затеребила она сестренку, но та только глубже забралась под одеяло.

А таинственный гость уже шарил и никак не мог найти дверную ручку.

— Barbara! Ich bin's, Jacob, — по-немецки тихо позвал он, наконец, сиплым, простуженным голосом.

Птицей сорвалась девочка с койки и с криком: «Мама! Там папа!» — с разбегу распахнула настежь двери в сени. И застыла в проеме, широко раскрытыми глазами вглядываясь в темноту ночи. Там на коленях стояло что-то большое и бесформенное. И это существо протянуло к ней свои руки и коснулось ладонью ее головки.

— Доченька, это я, твой...

— Папа! Папа вернулся! — подалась она к нему. В детском сердечке на этот счет никаких сомнений. Сил поднять ее на руки у него не было, и он только прикоснулся к ней шершавыми губами. А она уже тянула его за руку в избу.

Яков разогнулся, тяжело переступил порог и повалился прямо на руки подоспевшей жены.

— Лучину, лучину зажги, Криста, — дрожащим голосом бормотала Варвара растерявшейся старшей дочке, и при тусклом свете уже все втроем уложили его на койку и принялись стаскивать с него верхние лохмотья. Силы явно покидали его, но он что-то шевелил губами и на лице его обозначилась виноватая улыбка. Варя склонилась над ним.

— Что, Яша, что?

— Я ведь сбежал, Варя. Еще первого июня сбежал, да потерялся в дороге. Как бы не накликасть беды теперь...

— Ну, что ты, родной мой, что ты. У нас председатель добрый. Тот же все — Павел Грохотко. Тебя часто вспоминает. А мужиков нет совсем, дак может и обойдется все. Клара вон с его сынком дружит. Бога будем

просить... — и всплеснула руками. — Боже праведный! Как ты сказал: первого июня? Да ведь Кларочка как раз в тот день от Бога и услышала, что вернешься. Она же с самого первого летнего дня бегаёт встречать тебя за околицу. Господь милосердный! Клара, Криста, благодарите Бога за папку. — И склонились в благодарной молитве у кровати обессиленного Якова трое его самых родных людей.

Словно свежая струя влилась в жилы Якова. Он приподнял голову, обнял приникших к нему дочерей и снова откинулся на подушку, бормоча что-то невнятное.

— «Бог мой», — только и разобрала Варя. Она еще раз приникла к его губам и неожиданно дивной, благословенной музыкой прозвучал для нее его шепот. Ее Яков благодарил Христа! Ах, за то, чтобы услышать от него эти слова она готова была бы ждать его сколько угодно лет!

— Я шел помирать, Варя, — шептал он, — а теперь не помру. Теперь я с Богом. Для этого стоило выжить!

...Кому-то Господь открывается в самом раннем детстве, кому-то приходится пройти долгий жизненный путь, полный страданий, прежде чем до его сердца достучится Христос. Но приняв Иисуса, тот и другой увидит, что нет ничего в этом мире прекраснее Христова света. Долгая дорога к дому привела Якова и к Его дому. Дому Христа.

...Давно ушли на работу мать с Кристиной, оставив отца на попечение Клары. И вот уже утренний

луч солнца, прорвавшись сквозь поредевшие облака, вспыхнул на расчлененном деревянным крестом оконном стекле, расцветил его радужными слепящими стрелами, пробился внутрь избы и разогнал ее полумрак. Тут он увидел на койке, под боком у разметавшегося в тяжелом сне Якова, Клару и коснулся ее лица. Девочка только сильнее зажмурила глаза, быстро-быстро проверила рукой, рядом ли отец, облегченно вздохнула и еще теснее прижалась к нему. Не-ет, больше они не расстанутся. Мама же сказала, что Боженька держит каждого из них за руку. А раз так, то теперь они с папой будут всегда вместе. Из руки Христа разве потеряешься? Ни-ко-гда!

* * *

Эпилог

«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный...».

— **П**апа, папа, там эти жиганы Гомана в клубе драку затевают, — кричит отцу с порога Клара. Ей только пятнадцать, но ростом и статью она совсем, как взрослая девушка.

Яков вечерами делает ремонт в правлении колхоза, как раз напротив того самого клуба. «Дом культуры», как его помпезно величают сельчане.

— Ну, а мне-то что, — ворчит он, и укоризненно смотрит на дочку. Она понимает этот укор и смущенно оправдывается.

— Да я туда случайно зашла. Папа, надо наших ребят спасти!

— Так уж и спасти, — хитро прищуривается он. — Подерутся да и помирятся. Да и пошто я должен их разнимать? Я же не участковый.

— Не помирятся, — тербит его за руку дочка.

— Это как же тебе знать?

— Потому что там Яшка. А он неспустиха. Разве он спуску даст?

— А-а, тогда тем более не пойду. Яшку я твоего не видел, что ли, — скрывает улыбку отец.

— Не моего, — покраснев, протестует Клара, но быстро находит выход. — Не моего, а сына твоего друга дяди Паши.

— А, ну да. Так он сам за себя постоит. Или нет? — он испытующе смотрит на дочку и понимает, что там может быть что-то серьезное. Она выглядит не на шутку встревоженной, а уж ее испугать не так-то просто.

— У них ножи, папа.

— Ножи-и? — нахмурился Яков. Стряхнув с одежды стружку, он встает. — А ну, пойдём...

В пятидесятых годах в Казахстан в связи с освоением целинных и залежных земель стала стекаться молодежь со всей страны. Тогда наряду с настоящими романтиками по жизни тут как тут объявилась и шпана разного калибра. И более или менее спокойному послевоенному существованию — в то время во многих селах даже дома не запирались на замки! — пришел конец. Криминал довольно быстро проник в местную провинциальную жизнь: воровство, разбой, а то и вовсе поножовщина постепенно становятся обыденным явлением. Кристина, старшая дочь Якова, работавшая фельдшером в райцентре, приносила иногда домой вести, от которых

у домашних мороз по коже: да откуда же у людей такое отношение друг к другу?

На этом общем фоне ситуация в селе выгодно отличалась от всего района; здесь пока что не было разгула шпаны. Не было именно потому, что в колхозе работало совсем мало приезжих целинников. Но вот появилась и здесь молодежная бригада, члены которой тем вечером осчастливили местный клуб своим присутствием. И повели они себя вызывающе, вернее, просто по-хамски по отношению к местной молодежи, как бы заранее отменяя возможность дружеского общения. А поскольку молодые сельчане не собирались пресмыкаться перед приезжими, обстановка постепенно накалялась. И молчаливое до поры противостояние вот-вот должно было перерасти в нечто более серьезное: подвыпившие целинники уже сбились в кучку у подмостков сцены и, поигрывая ножичками, — жест, явно рассчитанный на устрашение, — только ждали удобного предлога, чтобы затеять драку. Эти ножички напоказ, как правило, имели действие: среди противников начиналась тихая паника, и многие из них, струсив, предпочитали покинуть предстоящее «поле боя».

После такого незамысловатого маневра «власть» обычно переходила в руки приезжих, и с той поры они «держали верх» в таком клубе. Но на этот раз местные, среди которых был и сын председателя колхоза Яшка Грохотко, не дрогнули и вроде как сами готовились к нападению, отгоняя девчат к выходу. Поэтому вожак

целинников, не ожидавший такого поворота дел, не решался дать сигнал к «сражению». Скорее всего драка не входила в его планы. И, в общем-то, он счастливо для себя не решился, потому что в этот момент в клуб ввалился Яков в сопровождении своей дочери Клары. Увидев его, ребята заулыбались, а кое-кто даже не сдержал радостного возгласа.

— Дядь Яков, какими судьбами? — смущенно улыбнулся и Яшка.

— Да вот хочу посмотреть, как вы тут развлекаетесь. Говорят, у вас мероприятие намечается? — Яков кивнул дочке. — Так-нет?

— Да это... Ничего особенного, — еще больше смутился Яшка и укоризненно взглянул на Klarу: — Ну, зачем ты?

— А надо, значит, — отрезала она.

— Видишь? — поднял палец Яков. — Надо! Пойдите-ка здесь.

Он неспешно приблизился к притихшим целинникам, и безошибочно поманил пальцем вожака — высокого, плечистого парня, чуть старше двадцати лет.

— Ты, что ли, Дмитрий Гоман?

— Ну, — хмыкнул тот, стараясь принять безразличный вид. Но давалось это ему с трудом. Он так и впился в Якова глазами, и в них угадывалось какое-то беспокойство. Оно и понятно: кое-что они уже слышали об этом Габте, и хотя не знали в лицо, догадались по фактуре, что это именно он.

— Вот те и ну, — улыбнулся он. — Старший, значит? Вы сюда отдохнуть от работы прибыли или как?

— Ну, допустим, — парень не сводил с него глаз. Или перетрусил не на шутку, или не знал, как себя вести.

— Опять — ну. Ну, давай, допустим. Но если так, то чего же угрюмые такие? Может быть, хозяева не уважили? Дак нет, у нас ребята добрые и гостей привечают. Знаете, что я вам скажу, соколики: надеяться заслужить уважение при помощи ножа подходит только трусу. Для настоящего мужика — это последнее дело. — Он взял стоявшую там же в углу сцены картонную коробку, раскрыл ее и голосом, не терпящим возражений, скомандовал: — Ну-ка, все складешки сюда! Чтобы они вашему отдыху не мешали. Впрочем, кто сильно боится, может оставить у себя. — И к Дмитрию: — Ты как, не трусишь? Тогда быстро!

И к удивлению своей компании, Гоман как-то слишком поспешно, хоть и несколько картинно, скинул свой нож, при этом кивнув друзьям сделать то же самое. Такой покорности от него не ожидали, но и ввязаться в драку без него никто бы не осмелился. Парни присмирели и последовали его примеру. Яков закрыл коробку и обратился уже ко всем:

— Вот так-то оно лучше. Я тут напротив, в правлении, допоздна буду; так вы, как расходиться будете, там и найдете меня. Инструмент свой заберете: он ведь в обиходе вам нужен, а не для потасовок. Зайдете?

— Я зайду, — за всех односложно ответил Дмитрий.

— Вот и ладно. Тогда, мужики, желаю вам назавтра доброго рабочего дня. Это ж насколько приятней будет работать с чистой совестью, что не приняли грех на душу, а? Опять же и сердце будет на месте. Ну, давай пять, — протянул Яков руку Гоману, потом поочередно каждому из его компании. — Если по какой другой причине, кроме танцулек, придется у нас в селе быть, заходите в гости: места у меня на всех хватит. А теперь и отдыхайте на здоровье. — Он махнул рукой своим местным парням: — Яшка, приглашайте гостей: худой мир лучше доброй ссоры.

И ушел холодок неприязни между молодыми людьми, вызвав такое необходимое облегчение для нормального общения. От выхода и от стены робко потянулись девчата. Увидев, с какой готовностью они стали общаться, Яков взял за руку Клару.

— Ну, пошли дочка, нам тут делать больше нечего.

И она, не сказать, чтобы очень довольная, покорно последовала за отцом. Не забыв, однако, попрощаться с Яшкой.

* * *

Приглашая парней в гости, Яков не хвастался: места у него действительно хватало. В то непростое после побега время он дал себе зарок: не вернут в трудармию (вариант — не посадят в каталажку!) — построит он еще один дом и передаст его верующим, чтобы было им где собираться. Со слов жены Вари он знал, что собираются

они, в основном женщины, по очереди друг у друга; и хоть всего-то и наберется их другой раз душ с десяток, но все ведь с детворой приходят, так уж больно тесно получается. И как только обнадежил его председатель Павел Грохотко, что, дескать, все обговорено и ни в какую трудармию он уже не пойдёт, так и приступил к осуществлению своего обещания Богу. Начинал один, как и прежде, с заготовки самана. Трудился вечерами после работы в колхозе, и никого, кроме Вари, не подпускал к строительству, вызвав тем самым в селе кривотолки, что-де, опять этот куркуль за свое взялся. Мало, мол, ему одного дома. А он только помалкивал и не спешил раскрывать свои планы. Молчала на этот счет и Варя, пока Яков дом под крышу не подвел.

Тогда только объявили они сестрам и двум братьям во Христе, для чего предназначен сей дом. Надо было видеть с каким желанием взялись помогать им мужья и дети тех верующих женщин. А ведь до этого не во всех семьях одинаково терпимо относились к вере и преданности жен и матерей Христу. Бывали и скандалы — никуда от этого факта не денешься. Но вот уже общими усилиями как раз к зиме этот симпатичный домик из двух комнат и кухни был готов. И на первом же собрании в нем покаялись сразу шесть человек: три отца семейств (удивительно, но как раз из бывших скандалистов!) и трое их взрослых детей. Вместе с ними на коленях перед Богом стояли и Яков с Варей. О таком благословении Бога они и не мечтали. И потекла жизнь

уже новым своим чередом. Сам не обладая красноречием и музыкальным слухом («Мой отец тележного скрипа боялся», — шутил он насчет своей музыкальности), Яков очень любил слушать пение гимнов и проповеди старца Николая. И, чтобы не загораживать другим обзор своей внушительной фигурой, всегда занимал место позади всех и сбоку. Оно и на колени становится для молитвы там легче.

Вобщем, старался оставаться в тени, но поддерживал любую инициативу церкви: привезти ли какого проповедника из другого села, отвезти ли своих к соседям — его транспорт в виде телеги с упряжкой из одного, а то и двух коней был всегда к услугам. Благо, председатель Грохотко возложил на него полную ответственность за содержание коней. А еще Павел не препятствовал их вере в Бога: это был тот редкий случай, когда человек ценил людей за то, как они трудятся, а не в кого они верят и кому поклоняются. А уж трудились они, что называется, дай Бог каждому! И никаких прогулов, тем более пьянства. Грохотко даже не боялся ставить их в пример другим колхозникам.

Это были годы некоторого послабления для всех верующих страны, вплоть до той приснопамятной речи Хрущева в конце пятидесятых (тогда он пригрозил, что скоро покажет по телевизору последнего попа). А до этого произошло еще одно знаменательное событие: снятие комендатуры. И сразу же многие немцы — а они составляли костяк верующих — засобирались в родные

края. Кто в Украину, кто на Волгу. Только сделать это оказалось не так-то просто, а вернее, невозможно.

С другой стороны, с поднятием целины оживились люди; в селах вскоре были построены целые кварталы нового жилья, появился заработок, а через это и стимул остаться здесь. Оставались и обзаводились семьями и прибывавшие на время целинники...

Яков, не принимаясь больше за работу, присел на крыльце правления. Вечера летом обманчивые во времени: вот уже и солнце спрячется, но и из своего укрытия расцветит оно небосвод такими изумительными красками — глаз не отвести!

Вроде и вечер уж поздний, а светло — ну, просто день днем. Будто и не заходило солнышко вовсе. Вдали, на самом горизонте густо рассыпало оно ядовито-лимонную пудру, и разрумянило нежнейшим алым цветом прикорнувшее там же большое пухлое облако. А в небесной выси обласкало сиренью грядки помельче. На каждое облачко у него свой колер, который постепенно сгущается и меняется, как и контуры самих облаков. Спешат краски, играют, переливаются, пока облака не примут по всему периметру один общий лилово-фиолетовый цвет на фоне прежней, но уже слегка потемневшей лазури неба. Нельзя без восхищения созерцать их замысловатые нагромождения: притягивают они и будоражат воображение своей таинственностью. Залюбуется человек дивным этим промыслом Божиим, а когда хватится — так это ж полночь совсем рядом!

А ну, как утром вставать с зарей, если ты, скажем, доярка? Или тот же механизатор?

Не мигая, смотрит Яков на завораживающую своим волшебством небесную палитру. Встреча с компанией целинников ассоциировалась у него с той давней, но незабытой жестокой стычкой в зоне и вызвала в душе вал воспоминаний. И выхватывает память из своих запасников, и рисует в воображении одну картину за другой; рисует непоследовательно, вразброс, но в мельчайших деталях, четко и узнаваемо. Как наяву видится та поляна с одинокой сосной в самой ее середине и... — и костер. А в уши лезут крики, ругань, стоны. Лезут по нарастающей, да так явственно, что Яков непроизвольно закрывает их ладонями. Боже мой, как давно это было! Но и сейчас, как и тогда перед сварой, чувствует он то же необъяснимое, тоскливое ожидание чего-то скорбного. И защемило у сердца печалью: где-то сейчас его лучший друг жизни Адам? Жив ли он или все-таки загубили его в лагерях? Вряд ли жив, если все же отправили в штрафзону: основание для такого подозрения у него было, и он говорил об этом Якову. Но оттуда ворачиваются, наверное, только такие выносливые, как Аркадий. Про Адама же такого нельзя было сказать, наоборот: в последнее время он явно сдал. Где-то и Альвин? Воспоминание о нем навяло тихую нежную грусть. Яков как бы вновь приобрел ту частичку своего сердца, что унесли с собой товарные вагоны вместе с Альвином и Минькой от станции Камышлов. Вот бы еще узнать,

как поживает с ним этот пострел! Ах, усмотрел бы Господь им встречу! Много молился об этом Яков, и долгое время после возвращения ходил в нетерпеливом ожидании обещанного Альвином письма. Не дождался. Не было от него вестей. Так и не довелось узнать, как сложилась судьба у них с Минькой. Одно было ясно: случилось что-то непоправимое, иначе не молчал бы он. Потом за суетой житейской как-то подзабылось все...

Расстревоженный воспоминаниями, Яков оторвал глаза от неба и склонился к перилам крыльца в молитве: «Господи, почему Ты спас меня, недостойного, и не помог моим товарищам, которые всю свою жизнь посвятили Тебе? Прощу Тебя, Иисус, дай узнать о их судьбе...»

Он еще молился, когда услышал нарочитое покашливание.

— Дмитрий? — повернулся Яков. — А что ж так рано? Народ-то вон еще весь там. Ты за инструментом?

— Нет, дядь Яша, не за ним. К тебе я.

— А что так? — насторожился Яков. — В клубе что-нибудь?

— Нет, там полный порядок. Дядь Яша, а ты меня так и не узнал?

— А должен? — Яков внимательно, насколько это позволяли сгустившиеся сумерки, взгляделся в парня. — Нет, Митя, не вспомню.

— А я тебя сразу признал. Как увидел в клубе, так и сердце чуть не выпрыгнуло: не от испуга — от радости. Помнишь, как с отцом моим, Альвином, вы на товарня-

ке... Вы меня еще... — И смолк, увидев, как вскинулся Яков и, придерживаясь рукой за перила, стал медленно опускаться на крыльцо.

— Минька! Ты?

— Я это, дядь Яша, — чуть слышно вымолвил Дмитрий, по-детски потирая глаза казанками пальцев, и присел рядом с ним. — Признал теперь?

— Минька, — повторил Яков. Такой неправдоподобно быстрый ответ от Бога ошеломил его и лишил дара речи. Он пытался справиться с внезапно охватившим его волнением и лишь бормотал в изумлении. — Не может быть! — И сам же себя спросил: — Хотя, почему это не может быть? Я ведь только что о тебе молился, вот и ответ. Ну, надо же — Минька! Да никогда бы не признал. Ты же тогда вдвое меньше был. А вот путь тот наш помню, как сейчас. И как ты с мешком своим появился, и как стращал нас.

Наступило долгое молчание, в котором оба с грустной улыбкой вновь переживали тот памятный момент. Первым нарушил молчание Яков.

— А... — начал он и запнулся. Во всем его облике один вопрос.

Дмитрий понял. И сообщил поникшим голосом.

— Отца посадили. Пятый год пошел.

По тому, с какой неподдельной печалью он произнес это, Яков понял, что Альвин стал для него настоящим, родным отцом. И постарался хоть как-то поддержать парня.

— Сроки, Митя, они ведь кончаются. Сколько бы ни давали, а конец будет. Для нас же главное, что он живой. За что взяли — не спрашиваю, догадаться нетрудно. Ясно, что за веру. И все-таки — как это случилось? Где? Вы ведь на Тюменщине где-то должны были пристать?

— Мы там и пристали. У тети Леры, сестры его. Только побыли там недолго: болела она шибко и через год умерла. А мужик ее, Анисим (он намного ее моложе был), сразу грозить стал, что донесет на нас, если не уберемся по-хорошему. Ему, мол, надо дом продавать. Главное, при тете Лере ни о какой продаже и речи не было. Да и сам он слова против никогда не говорил, а теперь будто взбесился мужик. — Дмитрий передернул плечами и сжал пальцы до хруста. — А еще крестом себя осенял другой раз, все верующим прикидывался. Только для того, значит, чтобы она его дома не лишила.

В общем, наехал он на нас, и тут я убедился, что мой отец далеко не из робкого десятка: ох, и перепугал же он этого злыдня. «Ладно, — говорит, — Анисим, раз такой оборот вышел, пойду-ка я сам в органы сдаваться. Прямо щас. Зачем тебе себя утруждать? Но мне-то что, мне сидеть не впервой, а вот за тебя боязно: могут ведь к стенке поставить. За что, за что: за то, что не донес сразу. Ну, если не к стенке, то червонец накинута — это уж к гадалке не ходи!» Посмотрел бы ты, дядь Яша, на этого Анисима — уж как он прощения просил, чуть ли не на колени становился, чтобы только остались мы у него. Честно говоря, я радовался, что так оно и будет

— вон ведь как уговаривает. Очень мне не хотелось оттуда уезжать: столько там друзей заимел, сколько в жизни еще не было. Ну, и сказал отцу об этом. Но он только головой покачал, и дал мне прочесть слова из Библии. Ее ему тамошний пресвитер церкви подарил. Тот, к которому мы от Аниськи перебрались. А уж от него скорехонько подались в Тулу; он отцу рекомендательное письмо туда написал. Шибко мне те стихи в душу запали: я перечитывал их, пока наизусть не запомнил. Слушай: «Человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его; он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. За то внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит — без исцеления.» Вот так. А знаешь, дядь Яша, почему я их заучил? Потому что через короткое время после нашего отъезда сгорел Аниська вместе со своим домом. Получил задаток с выгодного покупателя, да так на радостях напился, что умудрился и дом спалить, и сам в нем сгорел. Мы узнали об этом уже в Туле. В общем, вовремя ушли от греха: кто знает, чем бы все обернулось, будь мы там?

Ну, а когда мне стукнуло шестнадцать, отец сумел вызволить мои документы из местного детдома. Я ведь аккурат оттуда последний раз сбежал; помните, это я вам еще там в товарняке рассказывал. Да-а, а к тому времени отец уже работал на заводе и зарабатывал неплохо, но жили мы все по квартирам. Не жили — мыкались.

Чуть узнают, что он баптист, тут же на погон гонят. Верующих и так-то не больно привечали, а тут еще и баптист. Дескать, раз молится, но не крестится, стало быть — секта. Да я и сам уже недовольство проявлял и как-то высказал ему, что, мол, необязательно же перед едой молиться, если ты на людях. Можно и про себя это сделать, чтобы не раздражать их. Помню, шибко он огорчился такой моей мысли.

«Тогда, — говорит, — Миня, и Богу незачем любить нас. Если будем стесняться нашей любви к Нему, значит, и не любим Его вовсе. Ты же хорошо знаешь Его слова: «Акто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным...» Так что честным и чистым надо быть пред Богом, а не перед хозяином квартиры.»

В общем, долго так мыкались, пока ему комнату в общежитии при заводе не выделили. Вот уж радости-то было, представляешь! Живи — не хочу!

Дмитрий немного помолчал, словно давая Якову проникнуться тем же радостным чувством, что испытывали они с отцом. Потом огорченно вздохнул:

— Радость, конечно, что там говорить, но отец стал все чаще ездить куда-то по делам церкви. Мне хоть и не говорил, по каким, но я догадывался, что он духовную литературу перевозит. Возьмет на работе отпуск без содержания — и поехал. Ну, а я к тому времени новых друзей приобрел. Это уже помимо церкви. И как заимел паспорт, сразу в ремесленное пошел, как он ни оберегал

меня от этого шага. Но я убедил его, что, мол, надо же мне профессию приобретать. Потом выбрал момент, когда он в очередной раз уехал, и перебрался в общежитие ремеслухи. Отделился, значит. В самостоятельные выбился. Шибко мне тогда свободы хотелось, а он воли-то сильно не давал. Все в церковь с собой брал, а мне там уже было скучно. На улице-то с новыми друзьями куда веселее. Вот и тяготился я своей зависимостью. Как же: сызмальства вольная птица, а тут сиди, как на привязи. Но я его любил и почитал за родного отца. А он меня — за сына.

В общем, смирился он с моим решением: «Ладно, — говорит, — может быть, это Господь тебя ведет путем этим. Только не забывай молиться.» И помогал мне, и заходил частенько после работы — общаги-то рядом. Но через год его заграбастали. Меня, правда, даже не вызвали ни разу: фамилии у нас разные, а что звал его отцом, так никому до этого дела нет. Да я и не знал ничего, не посвящал он меня в свои дела.

Вот когда я понял, что такое свобода без копейки в кармане. В общем-то я и раньше знал такие времена, но теперь это в полном смысле значило — зубы на полку. В ремеслухе свои законы: или ты в силе и у тебя хлеб с маслом; или слабак — и тогда сухая корка с маргарином или комбижиром и скорая язва желудка. Я выбрал первое, потому что сила у меня была. Не всегда был зверем, но совестью поступаться приходилось. Зато выжил. Вспоминать, конечно, противно, но выхода не

было. Потом ускоренные курсы механизаторов широкого профиля — и вот я на целине. Сейчас тоскую о нем и люблю его еще сильнее!

Дмитрий замолчал. Молчал и Яков. Наконец спросил односложно:

— Пишешь ему?

— Отсюда еще нет. Но теперь обязательно напишу, раз тебя встретил. То-то он обрадуется! Его вот-вот должны по половинке на поселение отправить. А это еще пять лет. Может быть, сюда. Сейчас ведь всех в Казахстан гонят.

— Сейчас, да. Значит, будем молиться теперь, чтобы приехал куда поближе? — испытующе глянул на парня Яков.

236 — Вопрос застал Дмитрия врасплох, и он смущенно отвел глаза.

— Нет, дядь Яша, пусть как будет — так и будет. Не смогу я молиться. С отцом-то все получалось, а как посадили его, постарался забыть, как это делается. Что принесли ему эти молитвы? Только узы. И уже в который раз! Я на такую жертву не способен, а походить на того Анисима не хочу: молиться-то он молился, а потом хуже врага оказался.

— Это оборотень, Митя, — глухо сказал Яков. — И в вечности будет держать ответ перед Богом. Но он грешит, не зная Евангелия, и это, быть может, в какой-то мере будет для него послаблением. Во всяком случае, хоть как-то оправдывает в глазах людей. Людей, но

не Бога. Ты же хочешь жить в грехе при свете Благой вести — вон какие примеры из Писания приводишь! И для тебя это будет непростительное великое. Даже подумать и то страшно.

— Я это знаю, дядь Яша. И не хотел бы жить в грехе, да так уж оно получается. Понимаешь, не хочу быть таким жлобом, как Анисим, но и не смогу стать таким, как отец. А быть где-то посередине не хочется.

— Пред Господом все равны, Митя: и кто впереди, и кто посередине. Я тоже ведь далеко не первый: вон сколько трудились братья, в особенности твой отец, чтобы услышал я Христа. А теперь знаю, что не буду забыт Иисусом. Потому что Он сказал: «Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званных, а мало избранных». Откуда ж тебе знать, что не станешь избранным, как и Альвин?

Митя уже собрался что-то ответить, но у клуба остановилась и противно засигналила полуторка. Он заторопился.

— Это Федор за нами приехал. Надо идти. Он хоть и друг мой, но ждать не любит.

— Остаться не можешь? Завтра бы я тебя на телеге отвез.

— Не-е, завтра — это поздно. Да и накладно для тебя будет. Мы же отсюда километров за двадцать находимся, а встаем до зари. Так что пришлось бы нам через часок-другой уже выезжать, чтобы успеть.

— Так и выедем. Какие наши годы, Митя?! — улыбнулся Яков. — Ты не смотри, что я старый; мне лишний раз не терять времени на сон ничего, кроме удовольствия, не доставит.

— Лучше я в гости приеду, как выпадет выходной, дядь Яша. Если можно, конечно? Нам с Федькой — это не проблема. Иду, иду! — крикнул он, и помахал рукой своей ватаге, шумно и весело разместившейся в кузове машины. — Побегу я. Все уже в сборе.

— Ладно, ладно. Но если не приедешь, я тебя сам разыщу. Ты мне должен все об Альвине... об отце своем обсказать: что да как. — Яков подал ему коробку. — Бери свою орудию. Прости, Митя, но все же спросить хочу: давно вы этим занимаетесь?

— Чем?

— Ну, не даете молодежи нормально гулять.

— Да наговоры все это, дядь Яша. Слухи раздувают все кому не лень. Толком-то ни с кем мы и не дрались.

— Толком — это как? Еще не зарезали никого, что ли?

— Да не-е! — смутился, даже испугался Митя. — Не так я выразился. Ну, пару раз там помахали кулаками в районе, — что было, то было, но разошлись полюбовно. А складешки эти — так это больше для храбрости. Других поугатать. Правильно ты сказал — для трусливых они. Хочешь — выкини. Я своим все одно не дам теперь их носить с собой.

— Это правильно. Но выкидывать не надо. В обиходе пригодятся. Ну, что ж, жду тебя на выходные. Можете

со всей компанией приезжать. Как уже сказал, у нас всем места хватит.

— Да не вопрос, обязательно приедем.

Митя быстро перебежал улицу, уже на ходу запрыгнул на подножку и сел в кабину. Но через несколько метров машина снова затормозила, и Яков увидел его, бегущего назад. Полуторка же сразу скрылась за клубом.

— Дядь Яша, подожди! — кричал он на бегу, а подбежав, с размаху запрыгнул на крыльцо.

— Главное-то забыл тебе сказать, а Федьке ждать некогда. Он должен еще двоих наших в другом селе подобрать. В общем, придется тебе отвезти меня, как ты и предлагал. Сможешь?

— Да не вопрос, Миня, — снова непонятно отчего заволновался Яков. — Что? Говори.

— Дядь Яша, это-то мне и нужно было рассказать в первую очередь, а я все о себе да о себе. Олух я был, олухом и остался! Но я только в машине вспомнил: отец ведь в одной из своих поездок друга твоего встретил. Ну, с которым ты еще до войны в лагере сидел.

— Адама? — вскинулся Яков. — Альвин встретил Адама?

— Да. Как его — Штресснера! Они, как я понял, и встретились-то только потому, что общим делом занимались. И он у нас даже ночевал один раз, и в церковь приходил. Да они же только о тебе и говорили! Ты у них получился вроде как связующий. Я всего и передать-то не могу, как они отзывались о тебе.

— Так он живой! — на лице Якова такой блаженный, ликующий восторг, что и Дмитрий, глядя на него, невольно ощутил неожиданный прилив умиления в душе. Все же обнадеживать не стал. Ответил уклончиво:

— Тогда — да, живой был. Сейчас — не знаю. Времени уж сколько прошло, а он уж больно старенький был да хилый. Еле-еле душа в теле. Но твердо был уверен, что встретится с тобой. Впрочем, как и мой отец. Правда, оговаривались оба, что, мол, если не на земле, так в вечности. Ты же их обоих от смерти спас: и того, и другого, только в разное время.

— Это они, Митя, спасали меня от вечной гибели, а не я их. И все-таки спасли. На все на это была Божья воля. А что хилый с виду, так он всегда таким был.

240 Но на лесоповале любого здоровяка мог заткнуть за пояс. Я с ним в паре работал — знаю. — Яков широко улыбался, а голос его ломался от переполнявшего сердце чувства благодарности Богу за добрую весть. И вдруг, как будто удивившись самому себе, дрогнувшим голосом закончил на высокой ноте: — Боже, какое время было!

И не понять было этот возглас: всплеск ли это памяти об ужасах тех выстраданных лет или все еще неверие, что смогли все преодолеть и выжить? Дмитрий увидел, как Яков украдкой смахнул набежавшие слезы.

— Прости, Митя, расчувствовался я. Радость ты мне такую принес, что вместить в себя не могу. Хошь не хошь, а слезы вон так и просятся. Так ведь столько

лет ничего не знал о друге своем любезном. А он жив, и слава за это Богу! Ну-ну, что там дальше-то было, рассказывай.

— А что — дальше. На этом все. Адам на следующий же день уехал от нас. Он, видимо, не имел постоянного места жительства; мне показалось, что он и сам толком не знал, куда теперь поедет. За ним братья со старшим пресвитером пришли. Но ту встречу с ним я хорошо запомнил. Адам тогда дал мне одну потрепанную тетрадку и сказал, чтобы я обязательно передал ее тебе. Он почему-то был уверен, что я тебя встречу. Именно я, а не отец. И тогда, и теперь я удивляюсь, почему он был так уверен. Это рукопись Евангелия от Иоанна. Он говорил, что в лагере за ней охотилась охрана, поэтому она по большей части хранилась у тебя. Ты помнишь ее, дядь Яша? Дядь Яша, а ...

Дмитрий увидел, как этот великан, придерживаясь за перила, в полном смирении опустился на колени и заплакал, словно малый ребенок. Забыв обо всем на свете, шептал он слова благодарной молитвы Богу.

— А тетрадка у меня в чемодане, — по инерции пробормотал Митя, будто это могло успокоить Якова. — Я ее с собой на целину привез. Я...

И замолчал. Затаив дыхание, слушал он, как Яков благодарил Бога за то страшное время. За то, что Он дал выстоять им: не озлобиться, не возненавидеть, не потерять человеческий облик... Равно за то же, и так же прославляли Бога и его отец с тем необычно-

венным их гостем Адамом. И подступил к горлу ком: что-то екнуло в душе у парня — это память высветила те редкие благословенные мгновения, что пережил он с отцом, посещая церковь. Особенно тот момент, когда на призыв проповедника он вместе с другими ребятами выбежал вперед и встал на колени перед Богом. Ах, сколько радости тогда было у него! А как сиял отец! Он говорил, что это был его звездный час! Почему же потом Митя всеми силами постарался забыть этот истине благословенный миг, когда душа его воспарила к небесам? Как можно было это забыть! Он вспомнил ту печаль, с какой смотрел на него отец перед расставанием, и его охватило глубокое чувство раскаяния. «Господи, сколько он пережил за меня! Прости меня, Господи!» И во внезапно объявшем его благоговении он опустился на колени. Теперь без всякого призыва. Рядом с другом своего отца.

Когда-то по молитвам Альвина Яков услышал Господа и призвал Его в свое сердце. Теперь по его молитве склонился в смирении перед Христом сын его друга. Смирился и вернулся к Нему. Воистину, неисповедимы пути Твои, Господи! Каждому человеку Ты даешь его собственное время...



Зерно при дороге

Рано-рано, в полной еще темноте, Мария собиралась на работу. Собиралась осторожно, чтобы не разбудить детей и больную мать. Это было совсем нетрудно, если учесть, что, кроме двух кроватей у противоположных стен, в комнате больше ничего не было. На одной спала она, на другой — детишки ее брата Владимира, Лена и Ваня. Еще в одной комнатушке ютилась ее мать Елена.

243

Мария еще раз поправила одеяло на разметавшихся на койке детях и прошла в комнатку мамы. На дворе самый разгар зимы, и изба за ночь успела выстыть. Мария вздохнула: дрова заканчивались, продуктов в доме — кот наплакал.

Мать тяжело больна, да и она сама еле держится: жизнь впроголодь отнюдь не подразумевает работы на износ, а она работала именно так. Хоть и называлась ее должность вполне себе с претензией на прогресс — техничка, — но подразумевалось-то под ней не что иное, как уборщица. С раннего утра она мыла полы в конторе маслозавода, а потом чистила картошку и лук в столовой. От этого лука глаза у нее уже стали слезиться.

Мария была уже у дверей, когда услышала, как скрипнула кровать и раздался слабый голос матери. Она подсадовала на себя, что как ни старалась не шуметь, а все-таки потревожила ее.

— Мама, ну почему ты не спишь? — с укором прошептала она.

— Хочу сказать, дочка, — так же тихо ответила мать. — Иди сюда.

Мария подошла и заботливо поправила ей подушку.

— Я к обеду вернусь, тогда бы и сказала. Ну, теперь уж говори.

— Помнишь нашу буренку Младену? Я ее во сне видела. Она только к доброму могла присниться. Может быть, известие какое получим, а?

244 — Получим, мама, получим. И обязательно доброе.

Ах, как хочется старой матери, чтобы случилось что-нибудь хорошее для ее дочки и внуков. Во всех бедах Елена чувствует виноватой только себя, и ей стыдно за свою немощность. Поэтому, как может, скрывает те мучительные боли, которые донимают ее последнее время. Даже то, что в доме нет еды, она принимает на свой счет: дескать, не лежала бы пластом все время, смотришь — и помогла бы чем. Может быть, полушалак какой связала. Мало ли она их вязала?! А один полушалак — целое ведро картошки! Да еще что-нибудь вдобавок, если кто побогаче да посердобольней. А лежмя-то много ли наработаешь! И вырвался невольно из груди ее жалобный стон:

— Господи, а ведь самое доброе было бы, если бы смертонька пришла.

Не хотела вслух, а произнесла. И уже от двери бросилась к ней Мария, и припала у кровати, целуя руки матери.

— Мама, даже думать забудь! Не гневи Господа, что ты! Наоборот, проси у Него здоровья. Сама же нас учила, что по молитвам нашим Он воздает. Давай, я буду молиться, а ты повторяй за мной. Чтобы Он дал нам силы перенести все страдания. Будем благодарить Его за них, ведь зачем-то Он посылает их нам. — И зашептала молитву в предутренней тишине, а мать только вздыхала тяжко и изредка как бы подтверждала ее слова: «Так, Господи, так».

После молитвы, зная, чем еще ободрить ее ослабевший дух, Мария, поглаживая руки матери, как бы вспомнила невзначай: 245

— Вот ведь и буренку-то ты не зря видела. Помнишь, как ты нас с Емелей водила к ней в стайку на Рождество. Ну, чтобы услышать, как она с Христом разговаривает. Помнишь?

— Не я водила, вы сами без спросу удрали, — даже в темноте угадывается, что мама улыбается и, наверное, покачивает головой. — Это ж надо: дожидаться, чтобы мать уснула, и крадче убежать в стайку! Я когда хватилась, что вас нету, не сразу и поняла, где вы есть. Ох, да как-то еще не замерзли! Мороз-то знатный был, лютый был мороз.

— Ага, — улыбается и Мария, все поглаживая ее сухонькие ручки. — Да только нам все нипочем было. Больно уж хотелось их разговор услышать.

И она начинает вслух вспоминать подробности той незабываемой рождественской ночи. Через минутую Елена умиротворенно засыпает: она получила столь необходимое ей лекарство — молитву, чуть-чуть ласки и искреннего участия. Как мало надо немощему человеку! А Мария уже для себя мысленно продолжает возвращаться в свое детство.

...Со своим младшим братиком Емелей у нее часто выходил спор за право помыть ноги маме, когда та, уставшая, возвращалась с покоса. Ну, да что с него возьмешь? Он на целых два года младше ее и иногда путал очередность. Не доказывать же неразумному, что только вчера была его очередь, — все равно выревет это право. Так что другой раз приходилось и уступать. Старшие братья, Иван с Володей, такие же уставшие, как и мать, всегда с доброй улыбкой наблюдали за их стараниями. Когда-то и они вот так же, наперебой, рвались угодить матери, и это доставляло им истинное счастье. Даже строгий отец, Антон Иванович, в такие минуты размягчался, и гладил их по ершистым волосам. А это было высшим проявлением его любви к детям.

И только он одним своим словом мог прекратить их спор в пользу Маши. Емелька, бывало, хоть и насупится, но ни за что не заревет. При отце — слезы? Не-е, не мужицкое это дело!

Зато вечером они мирно ложились по обе стороны от мамы и, затаив дыхание, слушали непритязательные мамины сказки, где добро обязательно побеждало зло, а также разные захватывающие истории об Иисусе Христе. Ах, как доходчиво объясняла она их своим детям. Мама, хоть и была малограмотной, но читать умела хорошо. А многие места из Библии, особенно псалмы, знала наизусть...

Давно это было, еще до так называемого «раскулачивания». В зажиточных они не числились, но и бедными их нельзя было назвать. Антон, крепкий мужик, в самом расцвете лет, хоть и гнул спину на хозяина, но и у самого на подворье была корова с теленком, куры да овцы.

А еще у них в доме зимой собирались верующие ²⁴⁷ люди со своими детьми; долгими вечерами они молились и пели гимны. При всем при этом всегда присутствовали и Мария с Емелькой, и общение с другими детьми было для них праздником. Надо было видеть, с каким благоговением слушали они те задушевные песни; а уже к ночи, расположившись у мамы под боком, еще и еще раз просили ее напеть особо понравившиеся им.

— Мама, вот эту, где Христос в море, — просил Емелька.

— Мама, где море бушует, — вторила Маша, и мама с удовольствием напевала им одну за другой, пока они не засыпали.

В тот же памятный вечер случилось так, что сильно уставшая за день мать уснула первой, чего никогда не бывало. А перед этим она рассказала им, как в рождественскую ночь Христос посещает все ясли (стайки, по-нашему), где живут коровы. И коровы те, в том числе и их Младена, рассказывают Ему все, что было с ними в этом году.

— Мама, — загорелись они, — давай пойдём, послушаем, о чем они будут говорить. Сейчас же пойдём, а?

— Нет, детки, нельзя, — вздохнула она. — При нас они не будут с Ним разговаривать. Это их секрет.

— Так мы ж ти-ихо-осенько-тихосенько в сене зароемся, они и не увидят. Мы будем тише воды, ниже травы. Пойдём, а, мам?

248 — Но вы забыли, что Христос все видит, — не соглашалась она. — Что Он тогда скажет?

— А мы Его попросим, чтобы разрешил, — тут же нашла выход Мария.

— Да они ведь на своем коровьем языке с Ним разговаривать будут, — не сдавалась мама. — Все равно же не понять ничего.

— Ну и пусть на коровьем. Нам лишь бы это увидеть. Ну, хоть одним-предним глазком!

— Ну, хорошо, — сдалась она. — Но только в другой раз. Нынче стужа на дворе такая, что обморозиться недолго. Давайте-ка, я вам лучше песню спою. С какой начнем сегодня?

И вот так за пением сама и уснула. Тогда они, не

сговариваясь, тихо выбрались из-под одеяла, обули пимы на босу ногу, накинули фуфайчонки да шапку с полушалком — и в стайку. Пробрались прямо к жердям, что отгораживали стойло от предбанника, и приникли к ним, пытаясь разглядеть животных в полумраке. Лунный свет в стайку пробивался с улицы лишь через узенькие верхние оконца, и, когда глаза пообвыкли к темноте, они увидели Младену и даже разобрали, как она шевелит губами. И тут же испуганно схватил Емелька Машу за руку.

— Маруся, слышишь?

А она уже и сама услышала те тихие звуки, которые исходили от буренки, словно пережевывала она какие-то хрящики. Ну, так ясно же, что она это на своем коровьем языке говорит! Поговорит-поговорит — и вздохнет, да тяжело так. Жалуются, значит, Христу. Вдруг чуть слышным колокольчиком — тень-тень! — отозвался кто-то. И еще: тень-тень! Замерли дети в благоговейном трепете, прижались друг к другу, затаив дыхание. Одни глазенки поблескивают отсветом от оконца. Христос ангелов послал! И донеслось им их ангельское пение, и эта дивная зимняя музыка забаюкала их, заморозила и унесла в какое-то невообразимо прекрасное далеко...

Проснулись они каждый на своей кровати, куда, как всегда переносила их мама после того, как они засыпали. Сколько переполоха было в доме, они, конечно, не сознавали, а вот та музыка долго еще чудилась и Марии,

и Емеле в их детских снах. Правда, подслушивать разговор буренки с Христом они больше не ходили: ну, так прошло же Рождество.

А потом кончилась сказка детства. И не сказать, чтобы неожиданно. Для детей — да, неожиданно. Но не для родителей: кругом уже раскулачивали и менее зажиточных крестьян, и вопрос о том, когда настанет их очередь, был только вопросом времени. Сначала отобрали подворье со скотиной, потом и сам дом. Их же выселили в сибирскую тайгу в далекой Тюменской области.

Прошло время. Отец уже успел и на новом месте обжиться: срубил с сыновьями небольшой дом. Помощь ему оказывали и сельчане: были уже там души, что пришли через него к Богу и здесь, в этой глуши. Но и власти не дремали, и в том приснопамятном 37-м году арестовали «за религиозную пропаганду» Антона и его старшего сына Ивана, которому тогда аккурат двадцать исполнилось.

Отца расстреляли в том же году, о чем семью известили справкой, а Ивана уpekли на десять лет каторги. Да еще и без права переписки. Вроде как помощником он был «врага народа». Так от него и не поступило ни одной весточки. Клеймо это сопутствовало по жизни всей семье.

Времена тогда круто изменились, и теперь не каждый сельчанин осмеливался оказывать им какие-нибудь знаки внимания. Стоило ведь только поговорить с кем-

нибудь из них на улице, как попадал человек под подозрение. А там и до ареста недалеко. Что ж, и впрямь: не тревожь лихо, пока лежит тихо.

Через год после начала войны ушел на фронт Владимир. И всю войну прошел, изредка присылая солдатские треугольнички писем. Ах, сколько радости приносили в дом эти непритязательные конверты. Как ждали мать с Марией этих весточек от него. А потом уже ждали домой и его самого. Но только и смог он сообщить, что «дембель откладывается», поскольку, мол, перебрасывают их на Дальний Восток. «С японцами воевать», — подсказали сведущие люди. А Елена и сама уже догадалась: заныло, зато сковало сердце. И попрекнула незнамо кого: «Мало им одной бойни, дак на другую поперли. Ни с кем добром договориться не могут. Нет ладу промеж людьми, нету».

Больше о нем известия не было. Даже такого, что «без вести пропал». Торкнулась мать в одни начальственные двери, в другие, да с теми осталась: не нашлось охочего помочь неграмотной женщине, да еще и жене «врага народа». А что сын за родину сражался — до того как-то никому и дела нет.

И все же надежду в ее сердце посеял один фронтовик, вернувшийся в деревню с японской.

— Жди мать! — сказал он. — Воевать твой сын отвоевал, а раз в мертвых нигде не числится, стало быть, живой он. С японской без вести пропавших нет. И жи-

вые, и мертвые — все в наличии. Может быть, какую жену себе в тех краях подыскал. Это бывает. Ты жди.

Жену? Да нет, такого-то быть не может. Вот же тут они, эти две его крошки-погодки: Лена и Ваня, названные так в честь его мамы и старшего брата. Оставил он их матери, потому что в самый канун войны умерла его жена Варя. С той поры они свою бабушку мамой и считают. Как, впрочем, и Марию. Ни за что не согласились они отдать их в детский дом, и в свои шестнадцать лет Мария все заботы о них взяла на себя. Так малыши и зовут их обеих мамами. Хоть в этом у детей был недостаток: как-никак две мамы. Ну, и папу, конечно, ждут не дождутся. И соглашается уже Елена на такой расклад: ах, да пусть бы и женился, только бы живой был да домой вернулся. Но все нет и нет сыночка с войны, которая давно закончилась. Год-то сорок восьмой уж на дворе.

Улетел из родного гнезда и любимый братишка Марии — Емелька. Завербовался парень после войны на Дальний Восток, едва семнадцать исполнилось. Помог ему в этом давний друг отца, вернувшийся из тех краев. И по первости-то сообщил письмом, что работает на строительстве какого-то завода в Комсомольске-на-Амуре, а потом ни слуху ни духу. Уже больше года прошло.

Вот с его отъездом и стала сдавать здоровьем Елена. Не иначе как тоска по сыновьям давала себя знать. Все чаще слышала Мария, как пришептывает она жа-

лобный псалом к Господу: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли».

Как могла, скрашивала Мария эту ее печаль, но чем дольше не было вестей от Емели, последней ее надежды, тем горестней становилось на душе у матери. И вот уже совсем она ослабела и слегла. Ни встать, ни даже сесть на кровати не может. Трудно теперь Марии одной-то и на работу поспевать, и за ней, и за детьми присматривать. Ой, как трудно...

С улицы донеслось чуть слышное пофыркивание лошади — это колхозный конюх Матвей остановился, чтобы подвезти ее на маслозавод. Обычно она под- 253
жидала его на улице, а теперь вот из-за воспомина-
ний чуть припоздала. Он — единственный человек в селе, открыто сочувствующий их семье. Старый он и одинокий, оттого и не боится никого и ничего. «Я бы, может, и боялся, если бы было за кого, — ответил он однажды на вопрос Марии. — А за самого себя бояться какой резон? Сама ж вон говоришь: что бы ни случилось — все от Бога. Чего ж тогда бояться-то!» И перекрестился при этом.

Вообще в этом человеке причудливо уживались многие противоречия: наряду с верой в Бога он свято верил во всякую нечисть — от домового до лешего и водяного. Добрый по натуре, он иногда становился

непомерно жестким, даже жестоким. В такие минуты лучше было не попадаться ему на глаза. Однажды он избил кнутом до полусмерти своего сторожевого пса, а потом сам же со слезами выхаживал его, и клял себя на чем свет стоит. Во всем этом, видимо, сказывалось его одиночество. Никто и фамилии его уж не помнит. Матюха-бобыль — да и все тут.

— Не лучше? — односложно спрашивает он, кивая на дом, когда Мария с извинениями садится в задке саней. Это он всегда о ее матери так.

— Все так же, — ответила Мария.

— Вот ведь знаю, что молишься ты за нее, Бога просишь, а Он все не помогает, — сомневается конюх. — Это как? Не слышит Бог, ли што ли?

254 — Он слышит, дядь Матвей. Он все слышит. Только у Него всему свое время. «Время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать.» Так в Библии написано. А значит, и наше время радости придет.

— Хорошо написано, — одобрил он, — но лучше бы пораньше то время пришло для вас. Да и для всех. — И больше до самого завода — а это около километра — они ни о чем не говорили. Здесь она легко спрыгнула с саней.

— Завтра заеду, — как всегда, предупредил конюх.

— Спасибо, дядя Матвей .

Ровно в двенадцать Мария заканчивала работу. Домой возвращалась она напрямик, по накатанной до блеска дороге из района в деревню, тогда как многие женщины предпочитали идти перелесками. Дескать, не

настолько уж и дальше, чем по дороге, зато не скользко. На самом деле ходили они там из-за того, что каждая что-нибудь несла с работы. В то непростое время они отваживались на это лишь потому, что начальство негласно разрешало им прихватывать продукты. Но только чтобы понемногу. Главное было в том, чтобы не попасть на глаза участковому Калачеву. А тот в лес соваться боялся после того, как свалился там в яму-ловушку. Правда, отделался легкими царапинами, то есть не прямо на колья угодил. А уж кто эту яму приготовил и для зверя ли — поди дознайся. Вполне может статься, что для него ловушка и была уготована.

В общем, в лес он больше ни ногой: дело того не стоит, чтобы судьбу искушать. Вот женщины и ходили там безбоязненно. Подбивали они на это и Марию: ~~255~~ дескать, от государства не убудет, а ты хоть малышей своих да мать больную подкормишь. И сильно досадовали, что она не поддавалась на уговоры. Даже осуждали другой раз: «Так, видать, ты их любишь, раз не пользуешься случаем! Про любовь к ближним сказки рассказываешь, а своим же родным помочь не хочешь. Помрет ведь мать-то!»

— На все Господня воля, — смиренно отвечала она. — Он все видит и слышит наши молитвы. Придет время — и поможет. А если возьму что без спросу, не будет мне Его милости.

— Тыфу, ты, пень-колода, — еще больше досадовали сердобольные работницы. — С голоду пухнет, а все на

какого-то Бога надеется. Ну, жди, жди. Придет тебе время. На кладбище вон свезут, вот тебе и время.

Вот и сегодня отделилась она от всех и, жмурясь от слепящих солнечных зайчиков, отражающихся от зеркальной глади дороги, неспешно зашагала по ее середине. Тут снег хоть и твердый, но не такой укатанный, как от санных полозьев, а кое-где даже рыхлый. По всей дороге то там, то сям золотились на солнце нежные соломинки, и этим своим отблеском создавали иллюзию теплого дня. На самом деле мороз был отменный, и так и хотелось поднять их, чтобы обогреться.

Мария подняла несколько соломинок в ладошку, но в руке они сразу растеряли свой блеск. Она распрямила ладонь, и солнечный луч тотчас снова заиграл на них своей позолотой. Вдруг в этой абсолютной тиши раздалась громкие вскрики пролетающих ворон. Мария невольно вскинула глаза к небу и замерла в замороженном благоговении. Здесь, на ясном, лучезарном небе, в самой его вышине покоилось неожиданно розовое облако, а чуть поодаль такое же кудельное, но уже темно-лиловое, с краями, обрамленными багровыми кружевами. Совсем рядом и такие разные! Кто раскрасил их так? Откуда они вобрали свой цвет? И все это стоит неподвижно.

Но вот чуть дунул легкий ветерок и погнал их одно к другому. Через мгновение смешались они и образовали какое-то фантастическое фиолетово-розовое нагромождение — что-то вроде вулканической лавы. А от этого

сплава до слепящего глаза белоснежного хлопкового поля из облаков на горизонте, — лазурное море. Вот ведь и знаешь, что это огромное расстояние, а та же ворона редкими взмахами своих крыл в несколько секунд пересекает его и скрывается из виду.

Снег весело скрипел под ногами; дышалось полной грудью и так легко, что Мария ощутила вдруг какую-то беспричинную радость. Вот так просто, совершенно из ничего возникло восторженное чувство единения с природой. «Господи! — не сбавляя шаг, взмолилась она. — Как у Тебя все чудно устроено. И что за радость Ты мне приготовил? Ведь я же чувствую: что-то будет мне!» От избытка чувств она даже приостановилась, и взгляд ее упал под ноги. И тут, среди золотистых перышек соломы, она увидела рассыпанное тоненькой бугристой струйкой такое же золотистое пшено. Здесь начинался заметный подъем дороги, и эта струйка тянулась прямо по полозу до самого его верха. Гадать, у кого прохудился мешок и просыпалось зерно, не приходилось: колхозный снабженец раз в неделю завозит продукты на склад магазина. Но как его еще не склевали вездесущие снегири и чье оно теперь? Можно ли его взять? Ведь, если она не соберет его сейчас, проедут другие сани, затопчут — и его уже не будет... С другой стороны, ее могут привлечь. Вон этой осенью одного колхозника осудили на пять лет за то, что унес с поля котомку зерна. Но это с поля, а тут проезжая дорога. Да и зерна-то — кот наплакал.

Что делать? Мария беспомощно оглянулась, будто хотела с кем-то посоветоваться. Но никого и близко не было. А вот перед глазами... Перед глазами стояли постоянно голодные Лена с Ваней и больная мама. И она решилась.

Встав на колени, ладошкой на ладошку сметала она со льда крупу и сыпала ее в пимы. Почему в пимы? Ну, во-первых, не было даже рукавиц и карманов, во-вторых, на случай, если кому-то все же придет в голову ее обыскать. В считанные минуты все зерно переключало в пимы; получилось, что она дольше боялась, чем собирала. Вообразив, какая радость ждет ее малышей и маму, Мария заспешила домой.

258

Вот уже и околица деревни завиднелась, но пшено так стало мозолить ноги, что Марии все труднее идти, и уже не удастся скрыть хромоту. Теперь к радости примешалась боязнь: до своего дома пройти ей надо через всю деревню. И хоть длинная эта улица безлюдна (где вы видели, чтобы по деревне люди днем расхаживали без дела?), кажется ей, что каждый встречный, глядя на нее, догадается, почему она хромает. И не тот, так другой спросит с ехидной усмешкой: «Чего же это ты, красавица, не переобуешься, если пимы тебе трут, а? Уж не припрятала ли ты в них пшено?» И неважно, что встречных не было. Да будь улица полудней, она бы уже давно померла со страху!

Вот показалась вдали баба с ведрами на коромысле и стала черпать воду из колодца у ограды. Так Мария

тут же сделала вид, что притомилась, и переждала, облокотившись на погодившийся заплот, пока та не ушла назад с водой.

Уже и до дома оставалось каких-нибудь метров двести, как откуда ни возьмись — будто специально караулил! — объявился этот вредный участковый Калачев. Аккурат у самого ее дома. Она и так-то не знала, как отвязаться от него (прохода не давал со своими ухаживаниями!), а тут и совсем не к месту с ним встретиться. Наглый до крайности, он ведь не ухаживает, а просто пристаёт. Да ещё грозит всегда: что, мол, неровен час, попадешься с чем-нибудь, ну, тогда, мол, добра не жди. Ой, переждать бы надо, может, зайдет к кому-то из соседей? И ни одного заплота рядом, чтобы притулиться, и свернуть некуда. А уже видно, как он, с той самой улыбкой, что ей в каждом потенциальном встречном мерещилась, двинулся к ней. Совсем заледенил душу страх, захватила она лицо руками: «Господи, пронеси! — шепчут губы молитву. — Ведь не своровала я, нашла. Не для себя взяла, для мамы. Помрет ведь. И для деток. Голодные они. Пронеси, Господи...» И тут, как гром среди ясного неба, зычный окрик:

— По-сторони-ись!

Подогнулись от страха ноги, но тут же и вскинулась Мария в надежде: это Матвей, стоя в саях во весь рост, прокричал зазевавшемуся Калачу. Едва-едва тот успел вскочить на сугроб обочины и тут же кубарем скатился с него. А сани галопом подлетели к Марии.

— Садись, девка, быстро, — весело скомандовал конюх. — В районе тебе письмо заказное. Давай-давай, до темна надо успеть вернуться. Не веря еще в свое спасение, а еще больше в услышанное (от кого может быть письмо, да еще заказное?), Мария, как стояла, так и плюхнулась в задок саней. Матвей, крутнув бич над головой, сухо выстрелил им в воздухе, и жеребец, вздрагивавший от нетерпения всеми мускулами, рванул с места. Сумасшедшая гонка по морозу была ему явно по душе. Мария успела заметить, как Калач грозил кулаком им вслед и, наверное, ругался на чем свет стоит.

— Я еще издаля приметил, что этот хлюст у дороги вьется, — бросил конюх через плечо, будто тоже видел угрозу Калача. — Не иначе тебя караулил. Вот я ему и подкараулил. Ты как, не против?

— Дя-дя Матвей, — укоризнено протянула она. — Да еще как не против. Надоел мне этот приставуша хуже горькой редьки. Так ему и надо. — И, уже совсем успокоившись, спросила. — А разве правда, что письмо мне?

Он перестал щелкать кнутом, отпустил вожжи — теперь Чалый сам будет выбирать и дорогу, и скорость — и присел около нее.

— Еще какая правда, дочка. И ввек не догадаешься, от кого.

— От Емельки!

— Не-а, — старый конюх помедлил. — От старшего вашего.

— Ивана! — ахнула Мария. — Да как же так? Не может быть!

— Так, девка, так. Я и сам сначала не поверил. Евдокия на почте подтвердила и конверт показала. Оттого-то и гнал к тебе, сломя голову. Дай, думаю, хоть на праздник Христов порадую. Ну, что ж ты плачешь? Радоваться надо, что выжил Иван, — он смахнул невольную слезу и прижал к себе плачущую Марию. — Помню я его, как же, помню. Десять лет! Да теперь уж больше — одиннадцать, считай. Как же намыкался, видно, мужик, не приведи Господь. — Они остановились у крыльца почты. — Ты беги скорее, мне тут кое-что подсуетиться надо. Да смотри, никуда не убегай без меня.

— Да куда ж я без тебя, дядь Матвей.

261

В жарко натопленном почтовом отделении толпились люди. Мария расписалась за письмо и, взяв его в руки, обнаружила, что оно из Комсомольска-на-Амуре. То есть, обратный адрес был Емелин, но имя стояло Ивана. В письме угадывалась фотография, и сердце от волнения забилося так, будто тесно ему стало в груди.

Тут же, прямо на почте, она отошла в уголок и распечатала его. На фотографии, прислонившись друг к другу, в рост стояли Емеля и незнакомый ей изможденный пожилой мужчина. Емелю она признала сразу, другого — нет. Она развернула письмо, и с первых же строк слезы застали ей глаза. Слезы радости. Они

градом катились по щекам и не давали ей читать. Она то и дело переводила взгляд с письма на фотографию, не в состоянии поверить в то, что было написано. До-читав до конца, вернулась к началу; перечитала еще раз, наконец, что-то поняла, прижала руки с письмом к груди и там же, в уголке душевной комнаты, не обращая внимания на людей, упала на колени в благодарной молитве к Богу.

— Что с тобой, девонька ? — обеспокоились посетители. — Плохо?

— Известие от жениха получила, — насмешливо произнес какой-то парень. — Не видите — молится. — И развязно так: — Ну, что там твой Бог..

— Цыц, охальник, — оборвал его вошедший Матвей и так зыркнул глазами, что тот в испуге отпрянул к окошку и залепетал, боязливо оглядываясь по сторонам в поисках поддержки.

— А я че, я ниче. Ты че, Матвеюшка? Шутем же я, шутем.

Но тот уже не обращал внимания ни на него, ни на любопытные взгляды посетителей. Он заботливо помог Марии подняться и вывел ее на улицу к поджидавшим саням. Они были доверху гружены круглыми чурками.

— Дровами я для вас разжился, — пояснил конюх, и упредил ее порыв. — Потом, потом благодарить будешь, скорей говори: что там? Не томи, вижу — радость в тебе.

— Радость, дядя Матвей. Благоволение Божье. Емелька отыскался. Сам отыскался и Ивана отыскал. Живые оба, и летом приехать обещаются. Денег, мол, заработаем и приедем. — И озабоченно: — Да какая же Ивану-то работа — скелет ведь скелетом! Вот, фотокарточка, гляди. Я не сразу и признала его.

Матвей долго разглядывал фотографию. Потом произнес задумчиво:

— М-да-а, Иван это, Иван. Так и виделось мне это. Живьемгноили человека. Половина только от прежнего Ивана и осталась. — И, как бы спохватившись, добавил повеселее: — Но ничего, были бы кости — мясо нарастет. Главное, пережил тюрьму окаянную. Теперь у вас настоящее Рождество получилось. Дрова-то сама поколешь? Вот и ладно. Там, кроме березы, и листвяк 263 есть — он жаркий. Да не надо меня благодарить, Маша. Бога благодари. Ты это... упоминай Богу обо мне: так, мол, и так, конюх есть такой — Матвей. Бобыль, мол. Может, и зачтется мне на том свете. А так, что ж... Все вроде у вас налаживается. До лета-то немного осталось. О Володе ничего не прописали? Ну, так откуда ж ... Ну, ты беги, мать радуё, а я чурки вам разгрузу и поеду. На работу надо заглянуть.

В избе две пары детских глаз выжидательно смотрели на нее. Мария никогда не задерживалась так долго.

— Щас я, щас, родненькие, — приласкала она обоих, ссыпая пшено из валенок в миску. Потом, едва удержи-

вая себя от соблазна запрыгать по комнате, подошла к кровати матери и протянула фотографию.

— Мама, — тихо шепнула, — посмотри, что нам пришло.

— Емелюшка! — едва взглянув, вскрикнула Елена и мгновенно выпрямилась на постели, даже не заметив этого. — А это кто с ним? Ну-ка, дай сюда. — Дрожащими руками она поднесла фотографию поближе к глазам и бессильно выронила ее, сразу признав родное дитя: — Ваня! — И зашарила по постели, и вновь взяла карточку в руки, прижала к груди и закачалась вперед-назад, повторяя как заклинание: — Ваня, Господи! Сынок! Маша, это же Ваня! Леночка, Ванюшка, детки, вставайте на колени перед Богом, просите Его за отца, Бог ничего не делает наполовину. Он вернет и Володю. Вернет вам папку.

И будто и не было той болезни, что приковала ее к постели, сама скользнула на пол и встала у кровати на колени. Мария обняла ее, и полилась восторженная молитва-плач и аллилуйя Господу из обоих сердец: «Господи, Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием. Да славит Тебя душа моя и не умолкает, Господи...»

Лена с Ваней не знали, плакать им или радоваться, но на всякий случай все-таки расплакались и встали рядом с обеими мамами. А Елена, не переставая славить Бога, поочередно ласкала их всех троих.

Тепло и уютно было в этот рождественский вечер в

их доме. На улице уже непроглядная темь, а в избе чуть пилигает свет от керосиновой лампы с припущенным фитильком, да в печке весело потрескивают дрова. На потолке отсветом в два полукружия полыхает огонь и вырисовывает по углам и стенам избы грозные таинственные тени. А главное, на столе в чугушке дымится пшенная каша.

Не успели дети помолиться перед едой, как на улице послышался поскрип шагов на снегу.

— Дядя Матвей идет, — догадалась Мария. — Угостим его?

— Да-а! — в голос закричали дети, и повскакали, было, навстречу ему, но Мария остановила их, озабоченно прислушиваясь.

Шаги были не тяжелые, размеренные, как у дяди 265 Матвея, а легкие и торопливые, будто спешил кто-то сильно. Вот этот кто-то без стука вошел в сени и привычной хозяйской рукой, не шаря по двери, приоткрыл ее чуть-чуть и только потом постучал.

— Это папка наш, — сказала Леночка. — Папа Володи. Он к нам пришел. Мы молились — и он пришел.

Дверь отворилась теперь уже настежь, впустив облако пара, и вслед ему в избу шагнул солдат, на ходу освобождаясь от вещмешка за плечами. А в следующую секунду он уже обнимал свою маму и Марию. Его дочка с сыном, немного оробев сначала, прижались к нему с обеих сторон.

— Вот теперь, кажется, дошел, — тихо повторял он,

обнимая их. — Теперь верю, что дома. Все же Господь привел меня к вам.

И все они вновь опустились на колени.

«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2:19–21).

* * *

Беда...

Посадив вахтовиков на рейсовый автобус, идущий в город, сам Илья под предлогом кое-каких дел остался в райцентре. Дел не было: просто с самого утра преследовала неотвязная мысль — навестить двоюродного брата Данилу Горева. И теперь, когда он проводил ребят, мысль эта стала еще более навязчивой. Странно: сколько он ездит этим маршрутом, и никогда не возникало такого желания, хотя с братом не виделся уже 267 лет пять. А что, если это знак? Илья зашел в скверик за автостанцией и, припав на колени у первой же лавки, помолился: «Господи, Ты ли указываешь это?» И тут же почувствовал, как окунулся в благодатные волны Божьего благословения. Понял: надо ехать.

Но до Тропинска транспорта на сегодня больше не было, и он пошел в сельсовет: вдруг найдется что-нибудь попутное.

* * *

Егор Крюков озабоченно обошел вокруг телеги и крикнул с досады. Правое заднее колесо, что называется, «висело на волоске». Еще бы какую-то пару

секунд — и оно слетело бы с оси. Он присел у колеса на корточках. Незадача, однако: телега груженная, одному не справиться.

— Бог в помощь, — раздался голос за его спиной.

— Бог-то, Бог, да сам не будь плох, — обернулся он.

Перед ним стоял худощавый мужчина невысокого роста с тощим вещмешком за плечами. Егор только что видел его в сельсовете.

— Давайте, подсоблю, Егор Дмитрич, — приветливо улыбнулся тот. — Не удивляйтесь, я слышал, вас так в сельсовете величали. А меня Ильей зовут. — Он скинул рюкзак, ловко подсел под телегу и, подладив плечи, приподнял ее: — Насаживай!

Быстро зашплинтовав поставленное на место колесо, Егор с уважением посмотрел на неожиданного помощника:

— Силен, браток. — И пошутил: — Без Бога обошлись, однако.

— Без Бога ни одно дело не обходится.

— Думаешь? — неопределенно выразился Егор. — А куда путь держишь?

— В Тропинск. Машин туда не будет, а мне бы до вечера поспеть.

— Что-то я тебя раньше в наших краях не видел. А там к кому? — Егор приглядывался к мужчине. Внешность обманчива: с виду-то мужик тихоня, а возьмешь в попутчики — он грабителем окажется. Но услышав ответ, вскинул брови: — К Гореву? Шесть лет не виделись?

Ну, садись, по пути нам. Пешком-то двенадцать верст не больно близко будет.

— Вот за это спасибо.

Двенадцать верст — не одна, и после нескольких дежурных фраз, необходимых для знакомства, разговор затеялся сам собой.

— Ты, Егор Дмитрич, вроде удивился, что я к Даниле направляюсь?

— Ишь ты, заметил! Я не на то удивился.

— А на что же?

Дмитрич бросил вожжи, развернулся и сел лицом к попутчику:

— Ты же, как я понял, верующий человек?

— Совершенная правда.

— Во, видишь! — Егор просиял так, будто в чем-то 269
уличил собеседника. — Верующий, а не перекрестился перед тем, как мне помочь.

— Не все верующие крестятся.

— Вот и я о том же. Стало быть, не православный ты. Я даже так думаю, что предсказатель какой-нибудь. Угадывать можешь?

— Его-ор Дмитрич, — разулыбался Илья, — я не гадалка.

— Ну, нет так нет. Я это к тому, что к Даниле этот люд и зачастил: все гадают да предсказывают. Правда, он это от безысходности с ними связался. А они его дурят и деньги выуживают. Все обещают сына отыскать. Да только воз и ныне там.

У Илья заняло сердце: «Вот оно что! В беде Данила».

— Дмитрич, а подробнее нельзя?

— Чего ж нельзя? — похоже, Егор именно этого и ждал. Понукнув для порядка лошадей, он уселся поудобнее. — Значит, так. Все у Данилы с Любашей было хорошо: и хозяйство крепкое, и работа в колхозе почитаемая — он шофером, она по бухгалтерии. И Лене уже два годика было. Ну, я начну с того самого дня, как он цыгана разоблачил, который будто бы сквозь бревно пролезал. Отсюда и пошли все неприятности. Эти цыгане, брат, еще те пройдохи! Фокусы они тут по всему околотку показывали. Приедут куда в своей повозке, цыганята тут же разбегутся звать народ на чудо-представление. Особого-то приглашения и не надо, потому что сельчане о тех чудесах уже вовсю наслышаны. Слух по деревням распространяется — никакого радио не надо. А само представление где-нибудь за околицей проходит. Посадят, значит, зрителей с одного боку, и давай-пошел всякие фокусы показывать. А под конец гвоздь программы: становится один цыган на карачки и пролезает сквозь бревно. С комля до верхушки. Не иначе, как колдун. Простой-то человек разве такое на глазах вытворит?! Ну, потом шапка по кругу. Вот только после такого представления по домам пропажа обнаруживается. А цыгане уже далеко: не догонишь. Да оно толку-то, если и догонишь? А ну, как не найдешь пропажи, а он — колдун? Это ж, брат, себе дороже. Они тебе такого наколдуют, что не приведи Господи.

Только и утешения, что не одного тебя нагрели. Так уж устроен наш люд: если плохо не тебе одному, значит, не так уж и плохо.

Вот и у нас в Тропинске были они. Бревно, больше метра в обхвате, сельчане сами выбрали, чтобы их с полым внутри не надули. И вот цыган в бревно полез. Сидят деревенские, с бревна глаз не сводят, а по ту сторону, поодаль, Данила сено ко двору привез. Он же на отшибе у яра живет. Ну, лошадь выпряг, взобрался на копну. И сверху видит, что по земле рядом с бревном цыган ползет. Он тут же с копны — скок!

«Эй, — кричит, — вы что там рты пораззявили, если он мимо бревна котится! Лучше бы вон смотрели, как у вас цыганята по избам озоруют».

Но цыган на то и колдун, чтобы не растеряться. 271 Поднялся он, как ни в чем ни бывало, да как заорет в его сторону: «Сам-то ты куды смотришь, дурень, когда у тебя сено горит!»

Обернулся Данька, а сено огнем охвачено. Того и гляди на избу перекинется. Он телегу за оглобли и — мужик-то силищи невероятной! — в реку. Глядь, а никакого огня и в помине нет. А деревенские с хохоту покатываются.

Он к речке, сено спасать, а цыган шапку по кругу, ораву в повозку — и был таков.

Егор замолчал, будто припоминая что-то.

— А дальше-то что было? — выказал нетерпение попутчик.

— То и было, что не на того напали. Данька разве кому спустит! Это он такой неподъемный увалень, пока его из себя не выведут. А выведут, тогда берегись! Обиделся он, что цыган его таким лаптем перед народом выставил, ну, и поймал его в другом селе. Да вышло, что на свою голову.

— Это как же? Побили, что ли?

— Его побьешь... У него силищи на семерых. Хуже вышло. Отвалтузил он того цыгана, а тот и пригрозил: дескать, ты об этом век будешь помнить.

— Ну, и?

— Месяца два прошло с той поры; цыгане уже покинули эти края, поскольку холода подбирались. Утихло все, забылись и их угрозы. Только однажды объявилась у Любы какая-то цыганка. Люба — хозяйка приветливая, чай усадила ее пить. Ну, то да се, та ей давай на картах гадать да командовать: то ей подай, это принеси. А Данила пришёл с работы, увидел чернооую — за космы ее и вышвырнул из дома. Она как с крыльца-то побежала, растряслась маленько. Тут Любашкины-то украшения из-под юбки и посыпались: колечко золотое, брошь, серьги — все им дареное. Люба только руками и всплеснула: дескать, когда же она успела-то?! А цыганка вытащила ее гребенку, спичкой — чирк! — подожгла и прыгает у прясла; ну, чистая ведьма! Руками машет, кричит истошно. И так скакала, пока он за ней с колом не погнался. — Егор сделал паузу: — А через неделю их сынок и пропал. Чья это работа, гадать не надо.

Эту ведьму еще раз в селе видели. А вот куда делась — никто не видел.

— И что, с той поры?..

— Да, уж два ли, три ли года прошло, а ни слуху ни духу о нем. Люба от горя почернела вся. Еще и рот у нее перекосило, что даже на улицу не показывается. Пока Зинка Лосева, подруга ее, около нее тут была, так как-то еще выходила с ней; а как вскоре и она уехала, вовсе слегла: сейчас от неё одна тень только и осталась.

Егор замолчал, молчал и Илья. Такая весть хоть и опечалила, но стало ясно, зачем Господь послал его сюда.

Даже наперед узнав о беде, Илья не мог представить, что она так изменит Данилу. Прошло не так уж много времени, чтобы вместо высокого, стройного парня его встретил ссутулившийся старик с изможденным лицом и поседевшими прядями волос. Определенную радость при встрече он, конечно, выказал и даже немного развеселился, вспоминая курьезные случаи из их детства. А вот о сыне он явно избегал говорить при жене. Сама она приготовила хороший стол, но в разговор вступала редко, в основном для того, чтобы предложить гостю очередное блюдо или задать вопрос. И только когда она ушла, сославшись на головную боль, Данила присел поближе к брату и стал делиться своим горем. Собственно, ничего нового не сказал, о главном-то Егор уже поведал.

— Никто не может мне помочь, — отрешённо закончил он. — Ни Любу от хвори излечить, ни сына найти.

Но Леня жив. Недавно ездил я к одному магистру; он провел сеанс и опять подтвердил это.

— И велел приехать снова и привезти с собой побольше денег? — предположил Илья.

— Ну да, само собой, — не обиделся Данила. — А без этого как?

— Никак. К Богу надо обращаться, Даня. Только Он может помочь.

— А я не обращался? И к батюшке ходил, и к монахам в монастырь ездил. Один дьякон у меня тут дневал и ночевал. А кто только не ворожил, Илюша! И колдуны, и ведуньи: сына видят, а где он есть — не могут понять. Не перебить им цыганского заклятья. И я тех цыган найти не могу.

274 — А никого искать и не надо, — тихо сказал Илья. — И обращения все твои не по адресу. Даня, между нами и Богом нет другого посредника, кроме Иисуса Христа. Он наш Ходатай перед Отцом Небесным.

— Хорошо тебе говорить, ты сызмальства верующий, — вроде как упрекнул его Горев. — Ну, а что тогда прикажешь мне делать?

— Примиришься с Богом.

— А я с Ним и не ссорился. Говорю же, поп вон за нас молился.

— Ты сам должен обратиться к Иисусу, а не кто-то за тебя. Только прежде надо покаяться перед Богом, то есть стать Его дитем.

— Да в чем я должен каяться, Илюша, если никого

в жизни не обидел, никому ничего плохого не делал?
За что каяться?

— Всем людям есть за что. И в первую очередь за то, что доверяют не Богу, а всяким шарлатанам.

— Да как же это они шарлатаны? — смешался Данила. — Ведь они по Библии и ворожат.

— По Библии не ворожат. Она как раз против всякой ворожбы. Ибо в ней написано: «Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник... Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Мерзок, понял?

— Так я же сам видел, как на ней один магистр гадал. Все пальцем по строчкам водил да заклинания шептал.

— Это магия, учение сатаны, а не Бога. Ты спутал все, брат.

— Во-он что, — задумался Данила и вдруг догадался: — А как же тогда они на Бога ссылаются? К кому-то они же призывают?

— К сатане и призывают. А именем Бога прикрываются. Это и называется шарлатанство; и Господь спросит с них за это на великом суде.

— Спросит! А кому от этого легче? Мне? Нет. Леню я хочу найти сейчас, а не на том свете. Что же Он не поможет мне тут?

— А разве ты Бога просишь? То-то. Вот кого просишь, тот и помогает. Вопрос только — как? «По плодам их узнаете их», — говорит Библия. О плодах магии ты давно должен был догадаться: пшик на постном масле.

— Но у меня была надежда. Как же без нее?

— Надежда? Слушай: «Перестаньте вы надеяться на человека... ибо что он значит?» — это опять Библия. А ты, как бы наперекор ей, уповаешь на людей. Написано: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни». Понимаешь? Пока не возложишь упование свое на Господа, не сбудется и желание.

— Я бы и готов, Илюша, но что же получится: только что кланялся шарлатанам, как ты назвал их, — и сразу к Богу? Так кривить душой?

— Кривишь душой ты тогда, когда идешь ей самой вопреки. Душа — от Бога. Она стремится к Нему, а ты ей противишься. Отрекись от сатаны и всех слуг его и 276 покаяйся. Бог примет тебя.

— Примет меня? — эхом откликнулся Данила.

— Да. Хочешь обратиться к Нему? — Илья положил руку на плечо брата и вздрогнул, услышав за спиной голос Любы.

— Я хочу! — прикрыв рот ладонями, она стояла с широко открытыми глазами и внимала каждому его слову. — Я хочу, Илья. — И, придерживаясь за него рукой, опустилась на колени. — К Богу хочу. — И вдруг разрыдалась.

Данила суетливо обежал вокруг стола.

— Че ты, Люба, че ты? — растерянно бормотал он, и тут же рухнул на колени рядом с ней, и закачался, склоняясь головой все ниже и ниже к полу. Илья уже

стоял подле, поддерживал, и обнимал их, и гладил, как маленьких детей, боясь спугнуть благословенный миг.

— Просите Господа, просите, — тихо шептал он. — Изливайте Ему все, что тяготит душу. И Он воздаст! Да будет Он благословен вовеки!

И вот, сначала сбивчиво, неуверенно, потом все более осмысленно полилась их молитва к Богу. В этот миг они оба увидели, в каком болоте, в какой страшной пучине зла и греха они находились. Бог открыл им глаза, и слезами покаяния очищалась душа.

С огромным чувством облегчения (будто камень с души свалился! — скажет потом Данила) встали они с колен. Давно уже не видел Данила, чтобы так лучезарно и таким восторгом сияли глаза его жены. Ему показалось даже, что лицо у нее выправилось и она стала моложе. И Люба подслушала его мысли.

— Я вроде как сызнова народилась, — счастливо улыбнулась она. — Будто крылья за спиной выросли.

— Это и есть крылья, — сказал Илья. — Крылья веры. А чтобы они не стали простыми перьями, храните и укрепляйте этот дар. — Он протянул им Библию: — И вот вам для этого мой подарок.

...Пришла осень. В очередную паузу между вахтами Илья ездил далеко на север области. В каждой своей проповеди он упоминал о Лене и призывал молиться за него. И вот после одного вечернего собрания к нему подошла взволнованная старушка. Дело неотложное:

шибко просит ее квартирантка, чтобы он пришел к ней. Сама-то, мол, Зина, не жалец уже на этом свете: еле-еле душа в теле. Рак у нее. А услышала, дескать, от меня вашу историю, как цыгане мальчика умыкнули, и вовсе дышать перестала. Слезы только и льет. И сынок ее плачет: у него, кроме мамы, никого нет.

Через пять минут Илья уже сидел в ее доме. Мальш, назвавшийся Ленькой, сразу забился в угол и со смешанным чувством любопытства и страха взирал на незнакомца. И ещё в его взгляде угадывалась какая-то затаенная надежда. На что? Одного взгляда на него было достаточно, чтобы определить, чей это сын, — он был живой копией Любы. Илья сел у изголовья больной женщины. Чтобы расслышать ее, пришлось склониться

278
к ее лицу.

— Я знала, что кто-то должен был появиться здесь, — чуть слышно шептала она. — Может быть, Бог услышит моё раскаяние и простит меня. — Она схватила его за руку: — Вы должны знать — это не цыгане...

— Я это только что понял. Скажи, зачем ты это сделала?

— Я всю жизнь любила Данилу и ненавидела Любу. Но притворялась и ждала случая. А тут эта цыганка. Я хотела сделать им больно и списать все на нее. Мне это удалось. — Она с мольбой смотрела на него, а старушка легонько утирала катившиеся по ее щекам слезы. — Мне осталось совсем немного. Может, уже сегодня или завтра... Пожалуйста, отвезите сына...

Леню. Только прошу, ничего пока не говорите ему. Не хочу, чтобы он узнал правду, пока я еще жива. Потом — пусть. — И зачастила: — Сейчас же увезите, сейчас. Я любила его...

И впала в забытье, не пояснив, кого именно. В том, что не Леню, Илья убедился сразу, увидев, с какой готовностью мальчик согласился уехать с ним. И не стал медлить с отъездом. К переполнявшей его радости за дитя примешивалась жалость к заблудшей женщине.

— Господь ей судья, — сказал он на прощание, отвечая на немой вопрос хозяйки. — Молитесь за нее, и сама пусть молится, пока есть силы.

Через двое суток езды на перекладных они наконец-то прибыли в Тропинск. В дороге быстро сдружились; Илья рассказывал о Боге и читал увлекательные сюжеты из Библии, но ни словом не обмолвился о том, куда они едут.

Они уже шли по безлюдным улочкам села, как вдруг Илья, на секунду замешкавшись со шнурками, заметил, что у околицы мальчик сам уверенно свернул к яру и, уже не оглядываясь на него, заспешил по извилистой тропинке через овраг — не по дороге! — к дому на самом отшибе. Добежав до калитки, он так же уверенно просунул руку вовнутрь и, скинув крючок, открыл ее. Он все вспомнил! Дальше идти Илья не смог: он глядел на небо, и слезы умиления небесной поволокой застали ему глаза: «О, Господь мой, как Ты велик!»

Возвращение

280

Тяжко на душе у Федора Малкина, ох, как тяжело. Бубнит рефреном в чумной после попойки голове глупый монолог из юмористической сценки, услышанный недавно от выступавших в селе артистов. «Уж вечер близится, а графа нет и нет!» Тьфу, ты, прямо напасть какая-то, так и зудят слова в голове. Тогда в хмельном с артистами разгуле — отмечал с ними успех их гастролей — он то и дело цитировал их. К месту и не совсем.

Вот и втемяшились теперь в башку. Да, знатно они погуляли в тот вечер. И, кажется, спяну дров успели наломать. Но артисты-то наутро уехали: ищи-свищи, а он — вот он! — тута. Притих Федя в ожидании неприятностей, и только дня этак через три успокоился: вроде бы пронесло и на этот раз. И — на тебе! Именно тогда и заявляется к нему начальник местного отделения милиции капитан Арик Аникин. Самолично прибыл. Правда, узнав повод его визита, Федя немного, — аккурат насколько позволяла гудевшая голова, — расслабился. Повод оказался пустяшным, да и сам Аникин вел себя крайне дружелюбно. Оно и понятно: недели

две назад передрались совсем другие люди, а Малкин там был лишь свидетелем.

Дружелюбие капитана объяснялось еще одним обстоятельством: нехваткой кадров. Путевых людей работать в органы не затащишь, а всякую шваль самому принимать не хочется. А тут Федор, известный спортсмен и друг детства, в село вернулся. Пусть и бывший, но чемпион республики по вольной борьбе. И неважно, что пьет почем зря: на такого раза два-три нагнать побольше страху да приструнить поостроже — и вот он, готовый оперативник. Главное, никуда уже не уедет. Отъездился мужик. Не вышел ни в чемпионы мира, ни в чемпионы страны, как о том трубили все кому ни лень. Ему теперь тут всю оставшуюся жизнь куковать. Хотя совсем недавно и думать об этом не думал, потому как все больше по Союзу разъезжал. Да и в заграницах уже побывал.

Взлет Федора начался после того, как с завидной легкостью выиграл он областные соревнования по вольной борьбе. Хоть и были они межведомственными, на кубок общества «Урожай», но представителей со всей страны было вдоволь. И многие из них обратили внимание на сельского атлета. Предложения, одно заманчивее другого, так и посыпались на неопытного парня. Он и вправду представлял из себя готовый продукт, из которого сделать первоклассного борца не составит труда. Природа сама позаботилась о его данных, и он, без сомнения, мог стать звездой первой величины.

В общем, парень был у тренеров нарасхват. И он, не шибко разбираясь в людях, отдал предпочтение самому назойливому из них, пообещавшему золотые горы!

«Республика у нас, считай, в кармане, — вещал тот, — это я гарантирую. Самое сложное — выиграть всесоюзные. Если ты это сделаешь, на международной арене соперников не будет. Наши ребята из любой заштатной команды сильнее ихних чемпионов. Так что, доверься мне — и все будет чики-чики!»

Оснований не верить ему у Феди не было: вон мужик какой лощеный, один костюм чего стоит! И он согласился. Вскоре пришло приглашение в город, и долгое время он был и там в фаворе. Да еще каком! Как и обещал Семеныч, он выиграл «республику» и, получив звание «мастера спорта», тут же был принят в физкультурный институт. Сдача экзаменов была чисто символической. Ну, а учеба... Да какая там учеба, если то сборы, то соревнования. Но эта победа на «республике» и сыграла с ним злую шутку. Не сама победа, конечно, а ее последствия. Впервые тогда приложился он на одной из вечеринок в его честь к бокалу шампанского. Потом и коньячку немного попробовал. Все так необычно, диковинно для сельского парня. От коньяка, правда, чуть не задохнулся, и даже муторно как-то стало внутри. Но ничего, перетерпел. Зато потом... Ах, как прекрасен этот мир! Не то песню такую пели, не то и правда сам мир показался таким прекрасным. Потом это постепенно вошло в привычку: а что, глоток хорошего вина не по-

мешает. И пошло-поехало: разные города, встречи с важными деятелями от спорта, чрезмерное внимание девушек — чем не жизнь! Закружила она праздничной каруселью, глаза мирской мишурой занавесила. В итоге он так уверовал в свою силу, что стал пропускать тренировки. Как-то уж очень быстро увлекся разгульной жизнью, и хоть были еще потом успехи, но давались они со все большим напряжением. Если случались в день две-три схватки, то после последней он ощущал себя выжатым лимоном. Оно, конечно, на людях-то виду не показывал, но после принятия душа падал в постель как подкошенный. До поры до времени — пока речь шла о второстепенных соревнованиях — Семеныч относился к этому снисходительно. Просто делал вид, что не замечает состояния подопечного. Но вот наступили решающие поединки, а Федор явно сдал позиции. Вот тогда-то тренер и привел к нему человека в белом халате, и после познавательной беседы Федя слотнул одну таблетку, да еще и на укол согласился. И через какое-то время почувствовал такой прилив сил — горы свернул бы! Все это было за день до грядущих баталий. Так что всю дистанцию он прошел без единой ничьей и вновь занял обычное для себя первое место. А еще через месяц повторил успех уже на отборочных. И опять на ковре он выглядел бойцом: свежим и бодрым. Но шила в мешке не утаишь — эту пословицу еще никто не отменял. Пошел легкий шепоток, и после взятия крови на допинг его без шума — советские спортсмены не

способны на такое! — вычеркнули из участников чемпионата Союза. И хоть не совсем запретили выступать, но это уже не имело никакого значения: без допинга он вчистую проиграл первые же мелкие соревнования. Настал момент, когда надо было выбрать: или выпивка, или спорт. Совместить эти понятия невозможно, и как он ни пытался, тяга к спиртному свела на нет все его мало-мальские потуги «завязать». И как ни старались настоящие — не мнимые! — друзья, поддержать его, убеждая, что еще не поздно все исправить, он сломался. Сначала сменил спортивные залы на залы пивные, где его узнавали и с удовольствием поили пивом и прочими напитками. Как правило, неотъемлемыми сопутствующими таких застолий стали драки с его участием, где он раздавал тумаки направо и налево. Но после одной потасовки, чтобы не загреметь в тюрьму, срочно возвратился в село к маме с папой. Где подрастал еще его младший братишка и совсем маленькая сестренка. На время поутих. Но когда понял, что пронесло, несмотря на уговоры матери снова принялся за старое. Едва она — тихая и набожная — начинала жалеть его (не ругать!), как он грозно обрывал ее, что, мол, не суйся не в свое дело.

И она смолкла. Отец же так разобиделся на сына, что не только в споры не вступал, но и вообще перестал с ним разговаривать. И лишь головой покачивал с укоризной. Трудно было знатному трактористу после всеобщего почета, которого он достаивался еще и за сына, смириться

с его нынешней никчемностью. А именно таким Федор и становился: ни работать по дому, ни пойти куда-то на предприятие он и не думал. Да, не задалась жизнь, с какого боку не приценись. Но он еще хорохорился, и в редкие дни отрезвления все обещался, что вот, мол, завяжу и возьмусь за тренировки.

— Знаешь, мама, как меня ждут в городе. Так что завтра — все!

Но приходило это «завтра», и все начиналось снова да ладом. С утра вызывали его такие же сельские забулдыги; у кого-то откуда-то появлялись деньги, и начинался пьяный, на весь день, марафон. Без драк не обходилось и тут. И вот, пожалуйста, сам Арик Аникин гостем. Федор слушал его вполуха, соображая, где найти опохмелиться. И когда уже придумал, куда сегодня направить свои стопы, Арик вдруг задал ему вопрос, от которого по спине несостоявшегося чемпиона поползли мурашки. И, беспокойно заелозив по дивану, он сразу выдал себя, чем привел капитана в еще большее радужное настроение. Как говорят в органах, он взял его тепленьким. А вопрос прозвучал так:

— Теперь скажи мне, Федя, куда ты церковные побрякушки подевал, а? Ну, те самые, что с заезжими артистами на днях из храма умыкнули. Только не говори, что это не ты. Я тебе не тот городской следователь, который ради твоих спортивных грамот дело на других списал. Да все я знаю, не перебивай. Тут-то как раз все наоборот: все на тебе завязано. Вот показания твоих

артистов. — Арик протянул ему протокол. — Все чин по чину. И как подговорил их, и как «цацки» из церкви увел. И как потом их на эти самые «цацки» кинул. Да и Яков Михеич, дьякон, говорит, что это ты его «вырубил». Ну, что ты на это скажешь?

Все мог ожидать Федор, только не такого наглого оговора. Да, в церкви он и правда был с артистами. Так это они по пьяной лавочке упросили их туда на его мотоцикле привезти, чтобы «побалдеть». Для полного, мол, счастья. Целая хохма была, как они вчетвером в люльку набились, а он катил их по селу. Так ведь полная ночь уж была, что с того?

Сельская церковь никогда не закрывалась, и они там действительно «побалдели» — распили еще пару бутылок водки. И — все! Даже не шумели, наоборот: вели себя чинно-благородно — храм как-никак! Ну, а что Михеич на выходе под руку попал, так сам же и виноват. Они уже покидали храм, когда этот служитель налетел на их руководителя с нехорошими подозрениями. Дескать, что-то они там сперли. И откуда только взялся в такую пору?! Ну, не рассчитал Федя удара, так ведь не убил же мужика. Кстати, вот если бы Михеич успел первым ударить того плюгавого конферансье, неизвестно еще, живой ли тот остался бы. Рука-то у здешнего дьякона — ого! — все знают. Ему хоть и за пятьдесят, но мужик он еще тот. Ядреный мужик.

Тут вполне можно сказать, что Федя предотвратил смертоубийство. А про какие-то побрякушки он

и сном-духом ничего не ведает. На кой ляд они ему, если он не шут?

Все это Федя вполне искренне выпалил со скоростью автоматной очереди, и Арик сделал вид, что сочувствует ему. Может быть, даже верит, но..

— Допустим, Федя, что все именно так и было. Допустим. Да только они все четверо показали на тебя; да еще Михеич в обиде. А ты — один. Тебе, Федя, никто не поверит. Они, вишь ты, какие-никакие, а артисты. А ты кто на данный момент? — И сам ответил. — Заблудыга ты, Федя. Каждый день в поисках пошла по селу рыщешь. И на что-то ведь ты пьешь? Пьешь. А на какие шиши? Неведомо. Ну, а побрякушки те, как оказывается, стоят немалых денег. А, чуешь теперь, чем пахнет?

Федя почуял. И понял: свалили артисты на него свою вину.

— Я ничего не брал, Арик, — глухо сказал он. — Устроил бы ты мне с ними встречу, я бы им это... — он не нашел подходящего слова, — я бы им устроил «побрякушки».

— Э-э, брат, они теперь далеко, — неопределенно сказал Аникин.

— Ты мне не веришь? Неужели думаешь, я смог бы в родном селе...

— Веришь-не веришь, — развел руками капитан, — кому это интересно? А факты — упрямая вещь. Ты вот еще не знаешь, а мы в люльке твоего мотоцикла одну

иконку нашли. Так что, срока тебе теперь вряд ли удастся избежать. — Он помолчал немного и, посчитав, что достаточно выхолостил парня, смиловился: — Ладно, слушай сюда. Я попробую замять это дело, но и от тебя потребуется услуга...

— Арик! — Федя преданно сложил руки на груди. — Все сделаю, что скажешь.

— Подожди, не егози, — остановил его Аникин, полез в свою сумку и, к величайшему изумлению собеседника, вытащил оттуда бутылку белоголовой. — Давай-ка, обсудим один вопрос. Сделаешь — и дела никакого не будет. Но не сделаешь...

— Сделаю, — Федор жадно сглотнул, не отрывая глаз от бутылки, — заметано.

288 — Арик не смог сдержать презрительной ухмылки, но Федя ее не видел. А хоть бы и видел, вряд ли что-нибудь изменилось в его поведении. Алкоголь поработил его душу. Он еле дождался, пока Арик разольет по стаканам. Себе тот плеснул на самое доньшко.

— Мне еще работать надо, — пояснил и отставил бутылку. — А это все тебе. Теперь слушай. Шут с ними, с артистами твоими. С областью свяжусь — никуда не денутся. А вот что ты шарахнул Якова — плохо. Хотя сам он об этом не хочет заявлять. А нам-то как раз и надо, чтобы заявил. Ну, что так уставился? Не понял?

Федя мотнул головой. Он решительно ничего не понял.

— Ну, вникай. Если ты побил верующего человека, тем более дьякона, — это плохо. Но когда ты побьешь и

другого проповедника — это уже вроде как тенденция. Вроде аллергия у тебя на них, да? А это уже, хоть и не совсем правильная, но борьба с религией. Которая, как известно, опиум для народа. Получается — ты защитник народа от нее. Поэтому за Михеича или кого-то там еще тебе ничего не будет. А еще больше ничего не будет, если шарахнешь по бестолковке еще одного. Теперь дошло?

— Не совсем, — признался Федя. — Мне что, еще и попа надо зашибить?

— Ну, попа — не попа, а сектанта одного. — Слышал о таких человечках? Не грех бы приструнить. Вредный он для общества. Молодежь с пути истинного сбивает. После этого мы тебя выставим борцом с религией, ну и со всякими отсталыми пережитками, понял? Таким образом убьешь сразу двух зайцев: и себя выгородишь, и нам поможешь.

— Так, а сами-то не можете с ним справиться, что ли? — не удержался от вопроса немного взбодрившийся Федор. Живительная влага врачивала силы в изможденное тело, и ему не терпелось повторить. И все же бить человека просто так, без причины, ему как-то еще не доводилось. Так ему, во всяком случае, казалось. Вот если кто-то нападет, как, скажем, Михеич на артиста, — тогда другое дело. А просто так... Взглянув на Арика, он нерешительно потянулся к бутылке. Тот благодушно кивнул: пей, мол.

— Мы с кем угодно справимся, Федя. Только вопрос в

том, как это будет выглядеть. Не мне тебе рассказывать, что любой хмырь, оказавший на людях мало-мальское сопротивление милиции, тут же почитается чуть ли не за героя. Так я говорю? То-то и оно. Так что не стоит каждому хлюпiku создавать ореол мученика. Или даже славы. — И уже жестко добавил: — Или ты уже передумал? Тогда смотри у меня!

— Не-не, — поднял руки Федя. — Это я так, для сведения спросил. Говори: где, кто, когда.

— Вот это разговор. Значит, так: где баптисты собираются, ты знаешь? Нет, так покажем. Так вот в субботу вечером к ним из города приезжает проповедник — фигура в их кругах заметная. Наум Игнатьевич Хромов, запомни на всякий случай. Будет ли там у них молодежь, которую запрещено крестить, или нет, не знаю. Уж больно они осторожные стали — всех моих людей вычислили, и никакой облавой теперь их не накроешь. Вроде и были, и тут же — как в воду канут. Прощлый раз мы их у дома выслеживали, а они на озере успели окрестить своих оболваненных прихожан. Ну, сколько можно так гоняться? Мы решили действовать проще. Короче: зайдешь в их богадельню и, без всяких предисловий, врежешь по физиономии тому приезжему пресвитеру, или как его там величают. Ну, в общем, который за кафедрой стоять будет. Только бей вполсилы, чтоб не очурился.

— И дальше? — облизнул Федя пересохшие отчего-то вдруг губы.

— Дальше? — хмыкнул Арик. — Думаю, что накинута на тебя. Вот тут мои хлопцы из города и подоспеют. Они там же в собрании будут, только в гражданской одежде. В общем, налицо уголовное дело, но это уже не твоя забота. Фингалы моим ребятам нарисуют, и они в суде докажут, как эти баптисты набросились на тебя, а потом избili и их. Но все это будет потом. Сейчас же главное — там у них кой-какие книжки выудить. Ну, как, по рукам? Обещаю: останешься не клят, не мят, а?

— По рукам, — без большого энтузиазма откликнулся Федя. — Но уговор, Арик: только на один раз ты меня зафрахтовал. Второго раза не будет.

— Да ты мне и сейчас-то не шибко нужен был, — соврал Аникин. — Думаешь, другого не нашел бы? Это ведь я тебя же жалеючи. Понял, что развели тебя артисты, как последнего фрайера. А мы ж с тобой когда-то дружили в детстве; по садам-огородам озоровали, помнишь? Ладно, к субботе будь в норме. Не на рогах, имею в виду. За тобой зайдут. Бывай! — Арик нахлобучил фуражку на голову, небрежно козырнул — и был таков.

Никогда еще на душе у Федора не было так пакостно, как сейчас. Драки и следовавшие за ними примирения были настолько обыденным явлением, что особо никто за это и не расстраивался. Теперь ему предстояло — и он это отлично понял — выступить в роли провокатора. Правду сказать, людишки, о которых только что говорил капитан, сочувствия у него не вызывали: всегда, как ему казалось, излиш-

не вежливые, готовые угодить. Он считал их затюканными, забытыми недотепами. Тем более совестно поднимать на кого-то из них руку. «На кой ляд они сдались милиции?» — не мог понять новоиспеченный борец с религией, потихоньку опорожняя бутылку. Для обсуждения этой животрепещущей темы душа требовала общения, и тут аккурат для этого в дом ввалился его очередной друг с бутылкой.

В общем, спустя какой-нибудь час Федя разгрузил голову от вредных мыслей. А в течение последующих дней напрочь забыл о своем обещании. Однако в субботу за ним зашли двое дюжих молодцев, и он, хоть и был сильно навеселе, сразу вспомнил о «деле». И тут же вернулось то противное чувство брезгливости к самому себе. Наверное, впервые в жизни он почувствовал тот тошнотворный липкий страх, который и страхом-то не назовешь. Это было чувство омерзения за предстоящий поступок. Молодцев же нисколько не смутил его не совсем благочестивый вид. Предупредили только, что они войдут намного раньше, а потом уже один из них выйдет и даст ему знак. В общем, появиться он должен уже в ходе собрания, когда приезжий — Наум Хромов — начнет проповедовать.

Федор там так и появился. До самого последнего момента у него теплилась надежда, что произойдет что-нибудь непредвиденное, и ему не придется участвовать в этой гнусной затее. Но знак был подан, и он вошел в просторную комнату молеального дома с одной мыслью:

поскорее выполнить задание и тут же смыться. На деревянных, расставленных рядами скамейках тесно друг к другу сидели верующие. Никто особо не обратил на него внимания: все они не сводили глаз с пожилого проповедника, стоявшего за невысоким столиком, служившим, по-видимому, той самой кафедрой. Он же, завидев вошедшего, приветливо улыбнулся, указав на место впереди.

— Братья, потеснитесь. К нам еще один человек по воле Божьей, — сказал он, и лица слушателей осветила точно такая же улыбка. Они тут же подвинулись, а из задних рядов вскочил молоденький паренек с намерением провести Федора за руку. Необъяснимая злость разом охватила все его существо. Зло за то, что они такие добрые, а оттого и глупые, и даже за то, что это они виноваты в том, что он должен сейчас совершить. Он грубо оттолкнул паренька и направился прямо к столику. Проповедник все с той же улыбкой и протянутыми руками, поспешил к нему навстречу. И как только подошел, Федор, перехватив его руки, развернул его и швырнул назад к столу. Хромов, сильно ударившись об него, медленно сполз на пол. Приняв оборонительную стойку, Федор быстро прокрутился на месте, но никто на него не нападал. Он крутнулся еще раз, бешено переводя глаза с одного на другого, но ни в ком не увидел ответной злобы. В их глазах стояло недоумение. С первого ряда, опираясь на палку, к столу с трудом подковылял другой пожилой мужчина.

— Вот так же, братья и сестры, нас с Наумом били в лагере. Тогда-то меня и изувечили, — тихо сказал он, но каждое слово четко обозначалось в гробовой тишине. — Правда, тогда мы знали, за что. Сейчас я не знаю. — Он поднял глаза на Федора. — Может быть, ты скажешь?

По инструкции, Федор должен был ударить еще одного, и этот мужик был бы идеальной причиной для скандала. Ударить инвалида: о, уж тогда-то они очухаются и накинутся на него — не все же тут законченные трусы. И он двинулся к нему, чтобы поскорее расквитаться с этим делом. Но в это время Наум уже привстал, и их взгляды встретились. И тут случилось то, что впечаталось в его память на всю жизнь: Федор вдруг увидел себя со стороны. Он вроде как стоял в отдалении и наблюдал за тем, как здоровый, сильный бугай сбил с ног щедедушного старичка, и радуется, словно победил равного по силе. Такого срама он еще никогда не испытывал. Эта сцена потрясла, привела его в неопиcуемый ужас. Он весь как-то скукожился и стоял, не в силах шевельнуться; а откуда-то извне, словно из какой-то далекой галактики, доносились до него слова проповедника. И слова эти ранили и западали глубоко в душу.

— Ты уж прости меня, Федя, что я ненароком обидел тебя. Я ж и правда подумал, что ты к нам с миром пришел. Не удивляйся, я тебя еще маленьким знал: ты с внуком моим, Петькой, дружил. — Хро-

мов через силу улыбнулся. Улыбка вышла немного жалкой.

Продолжая говорить, он с помощью друга присел на стул. — А теперь ты вон какой взрослый стал. И сильный. С такой силой горы можно свернуть. Но ты почему-то решил свернуть мне шею. А я, старый, не понял, и тебе о Боге. Прости, Федя, и иди с миром, раз не хочешь слушать слово Божье. Ну, и передавай привет тем, кто тебя послал. — Он тяжело привстал со стула. — Скажи, что цели своей ты достиг. Мне правда очень больно. Но — его лицо снова осветила улыбка, и она была уже не столь жалкой — до свадьбы заживет. До твоей свадьбы, Федя. В том, что она скоро состоится, я не сомневаюсь. Так что пусть и в той твоей семье всегда будет мир, и согласие, и вдоволь хлеба насущного. А когда услышишь Бога — приходи, милости просим. Мы всегда тебе рады. И запомни: я рассчитываю погулять на твоей свадьбе.

Федор возвратился в себя и, совершенно сбитый с толку, уже не озирался по сторонам. Сгорая со стыда, он круто развернулся и бросился к выходу. На улице его догнали те двое.

— Ну, ты чего, паря? — прошипел один из них. — Еще бы разок двинул и ...

Но он уже очнулся от наваждения и, смерив обоих таким тяжелым взглядом, что оба невольно отшатнулись, с невыразимой тоской раздельно произнес:

— А пошли бы вы все...

Дома он сразу же вылил в стакан остатки из недопитой бутылки, но почему-то задержался и долго смотрел на его содержимое на свет. Потом решительно встал и выплеснул через окно.

— Федя, ты чего это? — обомлела мать, исподтишка наблюдавшая за сыном.

— Все, мама. Больше не притронусь. На этот раз поверь.

— Да как же верить-то? Каждый день ведь зарекаешься. Сегодня скажешь — завтра забудешь, — она присела на стул, обреченно склонив голову. Впервые за последние года три он внимательно посмотрел на мать. Много моложе отца, она всегда располагала к себе своим добрым, кротким нравом. Да и красотой природа не обделила. Теперь же перед ним сидела старая изможденная женщина, а ведь ей было только чуть за сорок. «Все это — я! — пронеслось в разгоряченном мозгу. — Боже мой, все это — я!» В ее согбенной фигуре было столько тоскливой безнадежности, что Федор не выдержал и, опустившись подле нее, как в детстве, зарылся лицом в ее подол.

— Мама, прости за все. Сегодня поверь мне. Мне, мама, только что Сам Господь Бог показал, кто я есть. Дерьмо я, мама.

— Свят, свят, свят, — всплеснула она руками и легонько коснулась его лба. — Да ты в себе ли, сынок?

— В себе, мама, в себе, — отстранился он. — Только прошу тебя, оставь меня сейчас одного. Мне кажется,

я должен сегодня что-то понять. Отцу пока не говори, не надо. Я сам. Потом. Когда все пойму.

— Хорошо, хорошо, сынок, — засуетилась мать и, промокнув фартуком глаза, вышла. И уже там, за дверью, чуть слышно запричитала. — Господи, неужели и правда надоумил Ты его. Неужто отвадишь от зелья проклятого? — И не утерпела: — Пойду, отца обрадую.

С замирающим сердцем следили родители, как их сын весь вечер не находил себе места: метался то по дому, то по двору. А их все это время будоражил один единственный вопрос: «Выдержит ли?» Вот уже и стемнело, и жизнь затихла на улице, и уже обнялись в забрезжившей надежде счастливые родители. «Выдержал, однако!» — шепнул отец. Как тут и рухнуло все: с шумом, гамом ввалились на веранду дома Федькины «задушевные» собутыльники.

— Принес-таки леший оглоедов! — сплюнул в сердцах отец. — Сейчас начнется! — и с головой укрылся одеялом, чтобы не слышать пьяных криков. А мать села на кровати и, горестно раскачиваясь, вышептывала Богу свою боль-обиду... Все, как обычно.

Но голоса друзей что-то быстро угасли, сменившись редкими недоуменными возгласами, типа: «Да ты что? Да ты погнал, что ли! Ну, ты даешь!» Потом «оглоеды» шумно протопали обратно, и все стихло. Не веря своим ушам, мать с отцом на цыпочках пробрались к веранде. Там они и увидели сына: он стоял на коленях у кровати,

и тело его сотрясилось от рыданий, которые заглушала подушка. Во внезапной жалости и в немом сочувствии они обступили его, и мать встала рядом с ним на колени. И сын не воспротивился, а наоборот: обнял ее и выложил все начистоту, что с ним произошло.

Та сцена в молельном доме неотступно преследовала его. Ах, как хотелось остановить ее там, где проповедник с радостной улыбкой протягивал к нему руки. И протянуть ему навстречу свои! Ведь тот хотел обнять его... Но не останавливалось действие — и летел к столу от его толчка старый человек. И рвался из груди тяжкий стон: «Да как же это я? Ударить желавшего тебе добра! Как теперь жить с этим?» А память все высвечивала и высвечивала картины его последних лет, и они, как в калейдоскопе сменяя одна другую, ясно показывали, что это был его закономерный финал. Не раз и не два ввязывался он в драку с людьми, ни в чем перед ним не повинными. Ну, разве что были они моложе этого проповедника. Но бил-то их также просто потому, что об этом просили собутыльники. Разница лишь в том, что на этот раз его не просили — вынудили. Только облегчения такая оговорка не приносила, и — уж в который раз! — снова в кадре тот ужасный миг. И нет от него никакого спасения.

— Федя, ты пойдй завтра туда. Попроси у того человека прощения, — тихо шептала мать. — Он человек Божий, он простит. А сейчас проси у Господа за все прощения. И Господь, если увидит, что ты искренне

просишь, непременно простит. Ты это сам в себе услышишь. Проси Его, сынок, проси шибче.

И Федор впервые в жизни обратился к Богу. Немело, бессвязно просил он Бога, но после первых же слов почувствовал вдруг ни с чем не сравнимое облегчение: так осязаемо, прямо-таки физически ощутил, что с души его свалился какой-то тяжкий груз. В немом благоговении поднял он голову, и лицо его осветилось великой радостью. Отец стоял рядом и распознал эту радость. Она бывает только в самые счастливые мгновения жизни. И он, в таком же благословенном удивлении еле сдерживал это неожиданно нахлынувшее и на него чувство.

Убежденный атеист, он еще не осознавал, но понимал, что случилось невозможное для человека. Ведь он был уверен, что отпетого алкоголика исправит только могила. Ну не помогает им никакое лечение. И подтверждений тому несть числа! Оттого-то и махнул давно рукой на сына. А тут... Что это? Мимолетное или закономерное прозрение? Откуда оно? И все еще боясь спугнуть это призрачное счастье, отец ласково, как маленького ребенка, гладил сына по голове. Так они и стояли втроем, и только спавшие младшие дети не видели этой семейной идиллии. Для них она была бы откровением, потому что их старший брат, — их гордость, несмотря ни на что! — редко когда обласкивал своих родителей. А уж чтобы папа ласкал его, так в это уж совсем нельзя поверить.

Утром Федор поспешил к тому дому, где вчера проходило собрание. Он был чисто выбрит, в отутюженном костюме и белой рубашке. Зная, что собрание начнется в десять, он боялся лишь одного, что Хромов еще вчера вернулся в город.

Но тот не уехал. На улице перед домом, несмотря на раннее время, словно специально поджидали Федора несколько парней с девушками. Они поприветствовали его так, будто вчера ничего не случилось. И он, только что уверенный, что готов к встрече с ними, вдруг смутился.

— Я это, парни, — замялся он, — хотел бы поговорить с дядей Наумом.

— Да понятно, — разулыбался старший из парней, — проходи. Эй, девушки, кто там из вас, проводите Федора к Игнатичу. Настя, давай-ка ты проводи парня.

Взглянув на Настю, Федя невольно съежился. Он уже несколько раз видел эту славную девушку, и она ему нравилась. Но кто она — узнать было недосуг. Теперь все вчерашнее с особой остротой обличило его подлый поступок, который показался еще страшнее, и ему сильно захотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю. Ведь она наверняка все видела. Но все же что-то сладостно екнуло внутри и чей-то голос шепнул, как бы в оправдание: «Вот если бы ты ее вчера увидел, да разве бы сподобился на то деяние?» И где-то в самом укромном уголке души совершенно неожиданно зачем-то всплыли

слова Наума: «Я еще на твоей свадьбе рассчитываю погулять!»

Девушка, легонько тронув его за рукав, вывела из состояния ступора, и они двинулись по мощеной дорожке к дому. Он шел позади, обуреваемый нахлынувшим стеснением от ее присутствия. Чувство, давно подзабытое за эти годы. И все его ночные заготовки вмиг улетучились. Она будто подслушала его мысли.

— Ты не стесняйся себя, — просто и доверительно сказала, полуобернувшись. — Я понимаю, как тебе трудно сейчас, но это пройдет, когда поговоришь с дядей Наумом. Кстати, он тебя с самого утра ждет. — И пожала плечами от удивления. — Надо же, он почему-то в этом был уверен. Главное, он нисколько на тебя не обижается. Ты сам это увидишь. Если хочешь, я буду с тобой.

Федя с готовностью кивнул:

— Да, пожалуйста, останься.

Они зашли в дом, и Наум, увидев их, приветливо махнул рукой.

— А я уж было засомневался, что придешь, — с той же неизменной улыбкой сказал он, и точно определил состояние Федора. — Что, не спалось? Бывает. А отец как? Мать?

Федя понимал его вопросы, как дань вежливости; понимал и то, что должен был высказать, что услышал сегодня ночью. Что мысленно повторял уже много-много раз. Понимал... но никак не мог заставить себя

начать говорить. Язык отяжелел, а слова комом застревали в горле. Он даже как-то сгорбился. В это время с улицы стала заходить молодежь, и это еще больше смутило его. И тут Настя взяла его за руку и чуть слышно шепнула:

— Смелее, Федя! Христос ждет тебя...

И Федор, вздохнув полной грудью, распрямился:

— Наум Игнатъич, я... это, — он замолчал, умоляюще глядя на Настю.

Опытный проповедник поспешил на помощь и на этот раз:

— Давай, Федя, помолимся Отцу нашему Небесному. Я встану на колени, а ты можешь стоять так. Позовет Господь — склонишься перед Ним и ты.

302

И полилась тихая и, как оказалось, заветная и желанная для Федора молитва. После первых же слов он рухнул на колени и разрыдался так, как даже не мог себе представить, что способен рыдать на людях. Но так же, как и ночью, в этом рыдании очищалась его душа, и наполнилась она светом и радостью. Он не видел, но почувствовал, как церковь наполнилась людьми, и все они встали на колени. И вот уже и сам Федор смог, наконец, говорить.

Правда, ни о чем, кроме просьбы о прощении, сначала не вымолвил. Но услышав, как слова его за спиной эхом повторяет Настя, неожиданно для себя раскрепостился, и стал славить Христа за свое спасение от гибели.

Славил и за то, что Иисус послал ему навстречу Своего вестника Наума, и вот эту молодежь, и всю их Божью церковь. Речистым Федор никогда не слыл, но сегодня его речь лилась так вдохновенно, будто он всю жизнь только и делал, что славил Христа! После такого чудного покаяния поднял его Хромов, обнял и поцеловал.

— Милости просим в семью Господа нашего Иисуса Христа, — повторял он со слезами радости на глазах. — Мы безмерно счастливы видеть тебя у Него.

Следом, один за другим, подходили все присутствующие и поздравляли Федора с прощением Христовым. Последним поздравил и тот, вчерашний, инвалид Иван Силыч, оказавшийся пресвитером церкви.

— Вчера Наум сказал, что к нам пришел еще один человек по воле Божьей, — повернулся он к Хромову. — Но нам не надо забывать, что была и еще чья-то воля, чтобы он к нам пришел? А, Федор, была?

— Была, — кивнул Федор и рассказал все как было, не утаив ни одной детали.

— Как же ты теперь с милицией-то? — озаботилась Настя. В ее голосе он услышал явную тревогу, и снова втайне чему-то обрадовался.

— Мне сначала у дьякона прощения надо попросить, сказал он. — А с Ариком я договорюсь. Друзья детства как-никак. Да он и сам обещал с артистами разобраться.

— Он обещал при условии, которого ты не выполнил, — возразила Настя.

— И все-таки я пойду сначала к Якову, — твердо повторил Федор, и неожиданно для себя попросил ее: — Пойдешь со мной?

Настя растерялась от неожиданности и робко взглянула на пресвитера.

— Надо помочь ему, дочка, — согласно кивнул тот головой. — Вдвоем вам легче будет говорить с Яковым. Мужик он жесткий, но справедливый. Мы же будем молиться за вас. Пусть Бог расположит сердце Якова к прощению новоиспеченного нашего брата Федора.

...Дьякон с нарочито подчеркнутой угрюмостью выслушал прибывшую к нему пару молодых людей. И вдруг

304 ← лицо его осветила лукавая улыбка:

— Мириться, значит, хочешь? Ну, я не супротив. Эка невидаль, жахнул меня по физиономии. А где гарантия, что в другой раз сам под мою руку не попадешь? Так что давай выпьем за мир. Только где же твоя мировая-то, голубок?

Федор в замешательстве переглянулся с Настей, пожимая плечами.

— Не принес, что ли? — разыгрывал недоумение дьякон.

— Он, дядя Яков, пить не станет, — вступилась Настя. — Он только что перед Христом покаялся.

— Покаялся? У баптистов! — уже без розыгрыша выпучил глаза Яков. — Вот те на! — И тут же справил-

ся с собой. — Ну, покайся и покайся, а я-то причем здесь? Как же мировую тогда оформим, а?

— А вы его по-нашему, по-христиански, простите. Как Христос учил прощать...

— Ишь, ты, какая ушлая, — одобрительно усмехнулся Яков, — и все-то знаешь. А что же прикажешь мне тогда с Федором твоим делать?

— Ну, вы все шутите, — смутилась Настя. — Во-первых, он еще не мой... ой, я хотела сказать не «еще», а что вообще еще не... — и совсем зарделась, — да ну вас.

— Ага, твой, но еще не вообще — понятно, — глубокомысленно заключил Яков. — И будто спохватился. — О! Слушай, может быть, врезать ему, как он мне, — и квиты? А?

— Дядя Яков, — укоризненно посмотрела она на него. — Вы же знаете, что Христос сказал на это.

— Да ни синь-пороху! А что Он сказал?

— Да знаете, только меня разыгрываете. Он сказал: «А я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

— И правда знаю, — посерьезнел дьякон. — Я знаю даже, чья ты дочка. И, между прочим, против твоего отца ничего не имею. Тем более теперь, когда вижу, как дети его Писание знают. — И вновь, с еще большим лукавством: — Та-ак, мировая отпадает, стало быть. Ну, тогда обещаите венчаться у нас. — И, прикрыв глаза, закачал головой: — М-м-м, батюшку

вызову, уж так вас повенчаем — любо-дорого смотреть! Ну, как, пойдет? — И сам же ответил: — Вижу, что не пойдет. У вас там свое венчание. Ладно, шутки в сторону. Слушай сюда, Федор, что я скажу. Этот твой капитан, Арик, не с того боку следствие повел. Та иконка, которую они якобы у тебя в люльке нашли, на самом деле не иконка, а обыкновенный ширпотреб, какого на базаре пруд пруди. Он тебе ее и подкинул. Ну, он или его помощнички, дела не меняет. Для чего ты ему нужен — гадать не буду. Сам гадай. А вот с тех артистов он хотел поиметь большой барыш. Только и тут он опростоволосился. Потому что Господь по-другому усмотрел.

306
Вот ты только что покаялся, а мне только что, буквально перед вашим приходом, те самые артисты вернули все сворованное. Заела совесть воришек: дела их, вишь ты, на гастролях так зачахли, что они связали это с их богопротивным деянием. И правильно связали: Бог — Он все видит! Ну, и не поленились: сделали большой круг, чтобы возвратить церковные атрибуты. Поэтому я и добрый такой. А раз уж я их простил, то и на тебя, Федор, тем более, зла не держу. В общем, идите с миром.

Дьякон осенил их крестом, но уже на выходе из церкви окликнул:

— Ну, а на свадьбу-то хоть позовете?

— Конечно, — в голос отозвались они, и тут же оба, смутившись, заулыбались друг другу.

И она была — эта свадьба. Через год с небольшим. Потому что именно столько отсидел Федор по приговору суда. Не простил, как и обещал, Арик своему бывшему другу такой измены. Все прежние делишки его раскопал, но своего добился: два года общего режима Федя-таки схлопотал. Но за примерное поведение и труд освободился отсидев половину. Только теперь смогло состояться его крещение. И не только его. Дело в том, что в тот день, как его осудили, в церковь Божию пришли и покаялись его родители.

— Бог вернул мне сына, когда он был на краю гибели, — сказал отец. — Как же Он не вернет нам его теперь, когда он стал чадом Божьим. Мы с матерью подождем его и будем креститься вместе.

Так оно и случилось...

В шаге от истины

Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют душу, чем чаще и постояннее ими занимается размышление, — звездное небо надо мною и закон нравственности во мне. (И. Кант)

308

С самого утра Ефима Оборина томило какое-то неясное предчувствие. Не тревожное, но очень и очень желанное. Целый день он провел в ожидании чего-то необычного и успокоился лишь вечером. Все, мол, это нервы. Ничего необычного: день как день. Его жена спала после приема лекарства, и он вышел на крыльцо.

Лучи закатного солнца, обласкав верхушки высоченных сосен своим томным сиянием, устремились вверх и там, вдали, расцвели на чистом небе продольные перистые облака. Там и сям разбежались эти островки множеством расцвеченных ядовитой сиренью клякс — целый архипелаг! А в самом зените сизовато-бледное облако — словно стелющийся дымок из трубы. Дымок быстро расползается — и вот уже нет его!

Чем ниже садится солнце, тем гуще становятся краски, и по всему горизонту разливается красновато-лимонное пламя. И отблески его как-то из-под низу и изнутри превратили там же, на горизонте, громадное темно-сиреневое облако в бурлящий лавой вулкан.

Небо и есть для Ефима та тотальная тишина, в какой он живет последнее время, так как оглох напрочь. Аукнулась бывшему фронтовику контузия, обеззвучив окружающий мир. И в созерцании природы пытается он воспроизвести в памяти знакомые звуки. Он слишком хорошо знает, как шумит этот величественный лес вдали. Как весело журчит ручеек, что неспешно бежит прямо вдоль его заплота. Он силится различить его переплеск по гальке на перекатах, а по множеству об- 309
разовавшихся в приглуби пузырей угадать его нежное урчание. Иногда это ему удается. И почему-то именно тогда вдруг прислышится ему пронзительный детский вскрик. Такой, что и сейчас от него судороги по всему телу: «Тятя, тятя! Не трогай мамку, лучше убей меня!» И обхватывает Ефим голову, затыкая уши, которые ничего не слышат. А рвущийся из груди стон бессилия возвращает к жизни.

Он смотрит на наручные часы: время Луше пить лекарства.

Да, этот крик — горькая память, неизбежный немой укор. И как ни давно это было, видится Оборину все так, словно было вчера. Ах, если бы не слушал наве-

тов... И теснит грудь неутихающая боль запоздалого раскаяния.

Вернулся Ефим с войны с орденами на гимнастерке, небольшим сундучком с гостинцами да время от времени возникающей острой болью в ушах — отголомом контузии. Что до подарков, то привез он Луше отрез материала заморского на платье, а четырехлетнему Ване лампасек да пряников. Радости такому лакомству было через край. Отрез же заморский Луша на второй день выгодно выменяла на продукты, дескать, наряд ей вовсе ни к чему, а Ваня вон совсем отощал. Ефим хотел было на это рассердиться, но, подумав, согласился. Главное, мол, к работе приступить, а там и не на один отрез заработаем. Благо работа и сама поджидала его. Та, прежняя, в колхозной кузнице. Кузнецом-то он знатным был на весь район! И жили дружно, да все война скомкала. Ванюшка-то без него уже родился — Ефим теперь его в первый раз только и увидел. Поздний он у них был, оттого и души в нем не чаяли оба. Ну, а сколько счастья было в глазах Луши, то это уж как само собой. Правда, его смущало, что от той радости она поминутно благодарила Бога. И все уверяла (к месту и не к месту, как он то понимал), что отмолила мужа у какого-то там придуманного ею Спасителя. Ну, ясно, тронулась баба от счастья. У них это бывает.

И отнесся к этому снисходительно: ведь далеко не всем выпало мужей дожидаться. Хотя какой там Бог,

если война — это рулетка. Сегодня выпало жить, завтра — убьют.

И потихоньку стала налаживаться жизнь. На причуды жены Ефим не обращал внимания. Да и она не докучала ему своими проблемами. В будни работала на ферме, вечерами читала сыну какую-то затертую книжку о Боге, а потом уже и он стал её читать. По выходным ходила на собрание, которое называла церковью. И непременно с Ваней. А церковь та — смех один. Домишко невзрачный, да их самих, в основном ветхих старух, чуть больше десятка. Ефим не понимал, что ее влекло к ним, и даже пошутил однажды: дай, мол, дожить до их лет, тогда, может, и я пойду. Это он в ответ на ее просьбу пойти с ней.

— Смотри, Фима, не упусти время, — мягко укорила она. — Можно, конечно, жить без Бога, но умирать без Него страшно. В Библии написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко».

И обомлел кузнец: откуда у его малограмотной жены такие мысли мудреные? Чисто профессор! Не-е, надо с этим кончать, а то до добра не доведет. Но за житейской суетой никаких мер не принял.

Но пришлось. Вскоре в районе развернулась кампания по борьбе с сектантами, и Ефим, чья фотография не снималась с Доски почета, подвергся такому давлению, хоть с работы уходи. Ясно, что раздражение он стал

выместать на Луше и в конце концов запретил ей брать с собой Ванюшку. А что вышло? То и вышло: сынок, несмотря на запрет, сам убежал туда. Тогда он выдвинул жене ультиматум:

— Все, баста! Больше никаких собраний.

И Луша, его кроткая, покорная во всем Луша, вдруг проявила твердость характера! Она не то что не отказалась от собраний, а еще и его попыталась уговорить пойти с ней. Огорошенный таким неповиновением, Ефим не нашел нужных слов и потому напился в тот день до беспамятства. Это было началом разлада. Как ни старалась Луша угодить мужу, он оставался непреклонным:

— Брось эту секту! Недоброе это дело.

312 И никакие доводы не находили отклика: брось — и точка.

После таких разговоров он ночевал во времянке, а утром шел на работу. Бывало, по неделе не разговаривал с женой. Может быть, поэтому и пропустил мимо ушей ее сообщение о завтрашнем крещении, которое будет на озере. И что они для этой цели даже машину наняли. Ну, сказала и сказала. Ефим буркнул что-то невнятное и тут же забыл об этом, уйдя в свои «хоромы».

А наутро спохватился: это чего же баба выдумала, если она с малолетства крещеная? Ой, что-то нечисто тут. И — шась в дом для разъяснений, а там один Ваня.

— Тятя, поедем на озеро. А то мама, как я ни просил, не взяла с собой. Поедем, а, тять, ее там крестить будут.

И Ефим вдруг взорвался. Сжал кулаки да как грохнет по столу:

— Я ей покажу крещение. Век будет помнить. Вместе с попом угроблю. А ты, Ваня, сиди дома.

И несмотря на отчаянную мольбу, запер сына в избе, мол, нельзя тебе туда, а сам к соседу Семену за лошадьми. Обсказал, конечно, что и как.

— И я с тобой! — обрадовался тот. — Устроим их попу кордебалет, а? Давай-ка хлебнем самогончику на посошок.

— Давай! — сверкнул глазами Ефим. — И запрягай. Отобьем упырю охоту дурить деревенских баб. (Это про пресвитера ихнего, седого как лунь старца).

К озеру от села дорога кружная: та гать, по которой 313 иногда напрямую ездили, давно уж поросла камышом, и от бревнышек одна труха осталась. Само-то болото не очень топкое, но все равно ходить опасно. Да и зачем, когда в объезд дорога есть. И покатили подогретые самогоном мужики на телеге, предвкушая «концерт по заявкам». Ужо, мол, покажем сектантам, где Бог, а где порог. С полверсты оставалось до места, уже и озеро вдали замаячило голубой своей гладью, как вдруг и послышался тот детский крик: «Тятя, тятя! Не трогай маму!» В любом шуме из тысячи голосов узнал бы отец голос сына; тем более резанул он его слух в той идеальной тишине. Это Ваня, увидев, что не поспевает к озеру вперед отца, кинулся к нему с гати прямо по бо-

лоту: «Лучше убей меня!» Со всего маху осадил коней Ефим в мгновенно пронзившем ужасе. Как он из избы выбрался?

И тут увидел всплеск янтарной болотной жижи: ступив мимо кочки, взмахнул ручонками Ваня и исчез в омуте. Потом головка его снова показалась наверху, и он беспомощно забарахтался, но Ефим уже был рядом. Не помня себя, пролетел он этот отрезок болота, подхватил на руки сына, уже наглотавшегося той зловонной жижи, и в таком же темпе вернулся к телеге.

— Развертайсь! — крикнул он Семену. — Беги, Сеня, Лушке скажи, а я в больницу.

А тот уже и сам понял, что дела плохи:

— Да ладно, бегу, чего там.

314 И побежал к озеру, на ходу сочиняя оправдание. Кому ж охота быть хоть и косвенным, но виновником несчастья. «Дернул же леший увязаться за Ефимом, — корил он себя. — Пусть бы сам разобрался. Да-а, а пацана-то, кажись, родимчик хватил».

А Ефима обуял ужас: «А если Бог и в самом деле есть? Мы ж против Него пошли. Тогда что же: Он Ваню послал, чтобы мы не помешали?» И как отдал сына в руки врачей, так и сидел отрешенно в коридоре в ожидании. Очнулся лишь, когда Луша тронула его за плечо. Все это время она помогала врачу промывать Ване желудок.

— Пойдем, Фима, Ване получше стало. Врач сказал, с неделю полежать придется.

И Оборин, только что вовсю коривший себя, обрушил свой гнев на супругу, обвинив ее во всем случившемся. Мол, ничего бы этого не было, не приспичь тебе с крещением. В какой-то миг он даже замахнулся на нее и тут увидел наконец в ее глазах столько слез и скорби, что сразу сник. Как-то постарел сразу мужик и, втянув голову в плечи, побрел домой.

Ваня держался молодцом, и их тревога понемногу утихла. Но на третий день, когда уже казалось, что он выздоравливает, врач мрачно сообщил, что состояние его безнадежное, и повел их в палату. Ваня сразу догадался об этом по скорбному виду матери. Отца он не видел, так как тот стоял за ее спиной.

— Мама, я умру, — не спросил, а утвердительно 315 прошептал он. И, опережая возражения, совсем как взрослый, стал утешать ее: — Только ты не плачь. Я только что видел Иисуса. Он звал меня. Знаешь, как мне с Ним хорошо! Мама, я теперь еще больше люблю Его. Прямо как тебя. Помнишь, мы читали с тобой: «Для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение» — помнишь?

Луша кивнула, сглатывая слезы.

— И я навсегда запомнил. Там написано, что несравненно лучше быть с Христом. Я теперь это знаю. И ангелы это знают. Они все время поют Ему славу. Ты слышишь, как они поют, мамочка? — И весь напрягся в беспокойстве: — Слышишь?

— Слышу, сынок, слышу.

Счастливая улыбка озарила худенькое личико, он обмяк всем тельцем и прикрыл глаза. Потом резко открыл их и жалобно, но четко произнес:

— Мама, скажи тятэ, что его я тоже люблю. Сильно-сильно.

И опустил ресницы. Навсегда. У кровати застыли в скорбном безмолвии Ефим с Лушей. Смерть сыночка примирила их.

Вот уж два года, как похоронили Ваню, но с той поры Ефим ни в чем больше не винил жену. Зато всю изводил себя. Мол, Божье это наказание, и нет мне за это прощения. И как ни убеждала Луша, что Бог не наказывает, а милует, только повинись перед Ним, стоял на своем.

И так, и этак звала его Луша в церковь — не пошел. Сначала просто отнекивался, потом, когда оглох напрочь, надобность и вовсе отпала. Глухоту он также счел знаком Божьего наказания и ни о каком слуховом аппарате, на который, как фронтовик, мог рассчитывать, не хотел и слышать. Очень скоро он уже почти безошибочно считывал слова с губ, и это как-то скрашивало его безмолвие.

Но, как известно, беда в одиночку не ходит. И вот новое горе: парализовало Лушу. У нее отнялись ноги. И он растерялся. Ему никогда не приходило на ум, что она может уйти из жизни раньше его. Нет, он не дрогнул.

Он стоически перенес этот удар судьбы и заботливо ухаживал за ней. Но стал теперь корить себя и за то, что совершенно не уделял ей внимания. И сегодня, когда она с виноватой улыбкой попросила принести новую рубашку, его опять обуял страх.

— Ты что это, Луша? Ты без меня не помирай, — засуетился он с заискивающим видом. — Нам вместе надо. А то кто ж за меня перед Богом слово замолвит?

— Слово за тебя, Фима, уже Ванечка замолвил, когда простил тебя перед смертью. И Бог простит, если покаешься перед Ним, — медленно, чтобы он успевал понять, сказала Луша.

— Да разве ж я не каюсь? Только и делаю, что причеты бью. У батюшки вон был.

— Ты раскаялся, Фима, а не покался. Это не одно и то же. Тебе жалко себя, потому что навредил себе, потеряв сыночка. Но кому бы ты ни жаловался, покоя в душу не вернешь. Потому что доверишься людям, а не Богу. Это бесчестие для Него. Ведь только Он, наш Спаситель, может дать душе покой. Обратись к Нему, тогда и о Ванюшке поймешь многое.

— Ты раньше никогда так не говорила. Что я пойму?

— Говорила, Фима, говорила. Только ты и при хорошем еще слухе не хотел слушать. Но вот, видать, пришло время, чтобы услышал. В Библии все про все написано. Каждый ребенок — это сокровище нашего Бога. Бог дал нам Ванюшку, Он его и взял. Он лишь возвратил Себе того, кто Ему принадлежит. И если бы

ты смог увидеть, в каком он сейчас находится чудном, благодатном месте, ты бы перестал так убиваться.

— Я? Если бы смог? А ты, Луша, ты что, видела это?

— Да. Я видела его у нашего Спасителя. Только что.

— Видела Ванюшку? — голос Ефима задрожал. — Он что-нибудь сказал обо мне?

— То же, что и перед уходом в вечность. Что любит тебя. Чудной такой: просил, чтобы ты молился обо мне. Чтобы я, значит, выздоровела.

И Ефим вдруг отчетливо понял, о чем тосковало сегодня его сердце и что нужно ему. Не забота о себе, любимом, не жалость к себе, а простое участие в судьбе своей жены. Он увидел ту между, которая отделяла его раскаяние от истинного покаяния. Он поправил ей подушку и, пытаясь сдержать нахлынувшие чувства, сказал:

— Луша, мне без тебя нельзя. Ты подожди меня, Луша.

Он вышел на крыльцо, встал на колени и снова устремил глаза к небу, словно ища там поддержки.

— Господи, — зашептал он, — прошу Тебя о прощении грехов, если мне вообще такое возможно. Молю Тебя, Господи, чтобы Луша не ушла вперед меня, потому что это я мешал ее жизни с Тобой. Но имею ли я право молиться о ней? А если имею, то как я могу услышать Твое прощение? Как?

От медного зарева на горизонте осталась лишь узкая его полоска. И месяц, неожиданный и четкий, словно

впечатанный в потемневшую лазурь неба, быстро-быстро поплыл, покачиваясь на волнах гонимых ветерком облаков. Будто догоняет он и зовет кого-то. В его беге Ефиму вдруг почудился голос Луши, который он не слышал уже целый год. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, но зов повторился. Еще не веря в чудо, он схватил валявшийся на полу гнутый гвоздь и с силой провел им по дну жестяного таза. Еще раз, еще. И противный скрежет, обычно выворачивающий душу наизнанку, показался ему дивной мелодией волшебной флейты. Он слышал! Нет, это Он услышал о прощении. Не сдерживая больше слез, он ринулся в избу:

— Луша, я слышу!

И замер, потрясенный во второй раз. Луша стояла у кровати, и на ее лице светилась счастливая улыбка. Она сделала шаг и упала в руки Ефима, уже стоящего на коленях...

— Господи, как велик Твой промысел! — явственно расслышал он ее шепот...

«И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат“».

Виталий Полозов

Укрой, тайга

Директор Павел Давидюк

Редактор Маргарита Кливер

Корректор Елена Пеннер

Рисунки Анны Рейн

Компьютерная верстка Андрея Цорна

Свидетельство о государственной регистрации
№ 1 074 107 0004 023994,
выдано Шевченковской районной в г. Киеве
государственной администрацией 13.10.09.

Изд. № 01.550. Подписано в печать 27.11.14.
Бумага 80 гр. Lux Cream. Формат 84 x 108/32.
Гарнитура: GaramondPro, AcademyC, DekorC, Helvetica,
Mistral, SchoolBookAC, Times-Roman.
Печать офсет. Усл. печ. л. 16,8. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 00647939.

УМО «Світло на Сході»,
ул. Хорольская, 30, 02090, г. Киев, Украина.

Отпечатано в типографии CPI books GmbH,
Eberhard-Finckh-Straße 61, 89075 Ulm, Germany.



Виталий Полозов, знакомый христианскому читателю по публикациям в журнале «Вера и жизнь» и газете «Забывтый алтарь», поднимает малознакомый пласт истории немцев-трудармейцев. Делает он это художественным языком мастера настолько прекрасно, что перед внутренним взором читателя живо и незабываемо встают яркие образы и характеры героев повести. Что ожидает нестигаемого христианина Адама Штресслера за колючей проволокой? Встанет ли сирота Яков Габт на путь спасения? Об этом на страницах этой книги...

